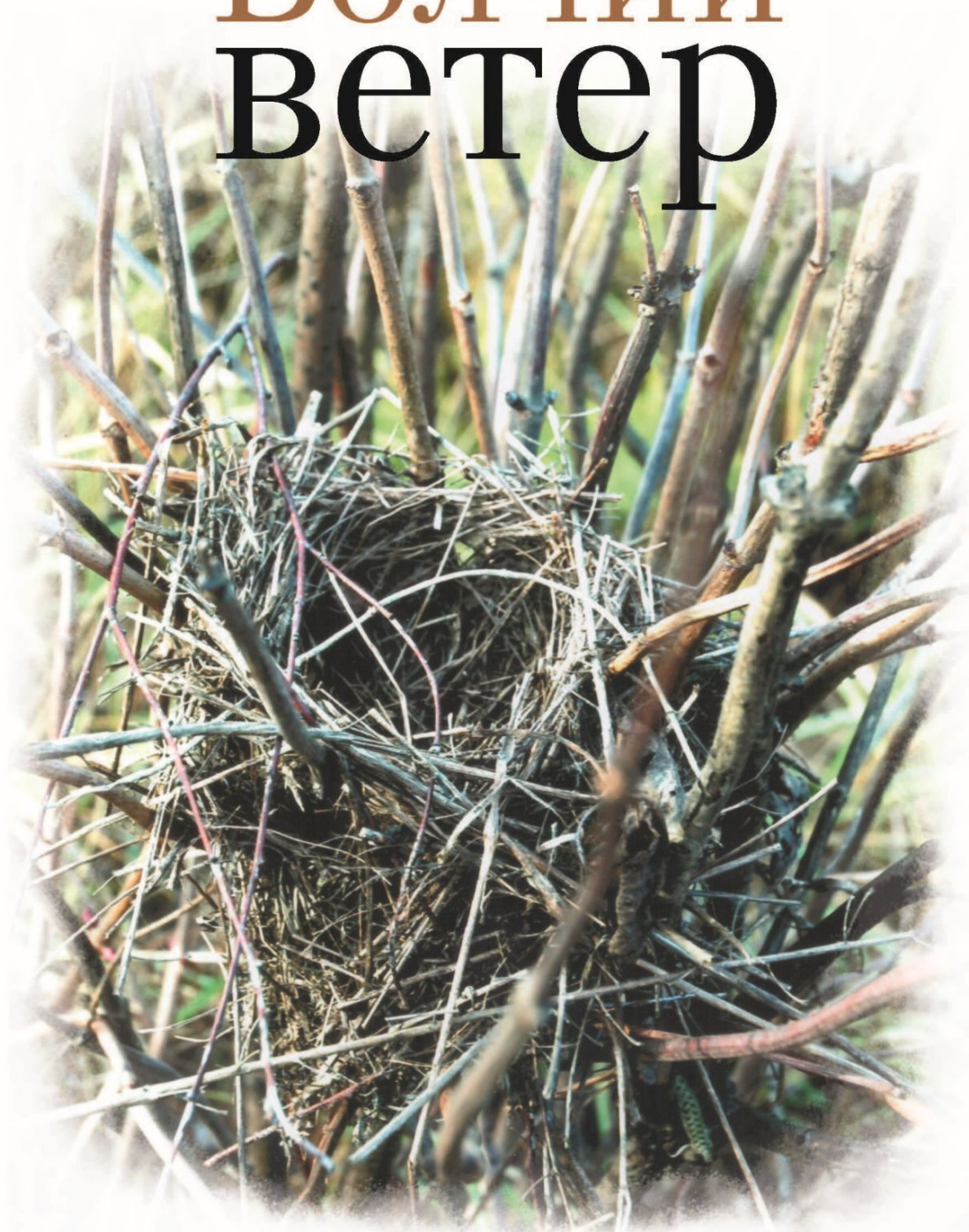


Владимир
Бирюков

Волчий ветер



Владимир Бирюков

Волчий ветер

«Издательство «Перо»

2026

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Бирюков В. Н.

Волчий ветер / В. Н. Бирюков — «Издательство «Перо», 2026

ISBN 978-5-00270-838-3

В рассказах и стихах Владимира Бирюкова — сплетение реальности и воображения; поиск смысла через преодоление, познание и преображение.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00270-838-3

© Бирюков В. Н., 2026

© «Издательство «Перо», 2026

Содержание

Волчий ветер	6
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Владимир Бирюков
Волчий ветер
Сборник

* * *

© Бирюков, В.Н., 2026

* * *

Дела человеческие ненадолго остаются в одном положении.
Василий Великий

Волчий ветер

Я шел по лугу, пряный запах травы витал в воздухе, стрекотали кузнечики. Небольшими стайками перепархивали лесные птахи. Я смотрел на солнце, щурился от его лучей и прикрывал глаза ладонями, босыми ногами чувствовал тепло земли, и не было для меня большего блаженства оставаться наедине с этим миром. Я знал не много усилий, сжать только свое тело и оттолкнуться от земли. И обрету я способность парить, и увижу землю с высоты птичьего полета. От этих мыслей вдруг стало легко и благодатно на душе. Вот несколько шагов и... Я лечу, пусть еще невысоко, но уже не чувствую землю ногами, а вижу ее, постепенно удаляющуюся от меня. Нет страха перед высотой, а есть ощущение полной свободы...

Но зазвенел колокольчик, и виденье как рукой сняло. Его голосок мелодично растекался по лесу, звали мужиков с покоса на обед. Эко разморило тебя, брат! Нехотя открываю глаза, передо мной облака. Они летят, повинувшись ветру, принимая чудные очертания. Вон то облако похоже на вздыбленного коня, а может, и на дракона, раскинувшего крылья, точно такого же, как в книге с необычным названием «Жизненная сила зверей и растений», той, что сосед наш, дед Мишка Блоня, как-то подарил мне. Когда же это случилось? Да, пожалуй, год уже прошел. Подозвал к себе скрюченным пальцем и загадочно так сказал: «На-ка тебе, сынок, кладезь знаний, дерзай, покуда тебе все интересно». И поковылял к лавочке, на которой обычно от солнца прятался. Книгу я принес домой, а как тетка узнала, что книжка от Блони, погнала меня из дому: «Таци свою книгу подальше от нашего двора, не хватало нам в доме колдовской литературы!»

Вся беда в том, что Блоню в деревне считали колдуном, а прозвище дали острые языки, когда после войны он вернулся домой весь израненный да седой в двадцать пять лет, белый, будто блондин. Раньше, говорят, статный был парень. Но война искорежила его и спустя годы не давала ему покоя. Раны выворачивали деда Мишку наизнанку. Выйдет, посидит на скамейке и, преодолевая боль, прихрамывая, ходит вокруг своего дома. Стонет, а иной раз и в голос кричит, адовы муки терпит. В отличие от других мужиков, Блоня никогда махорки не пробовал да от самогона с водкой начисто отказался. Вот и закрепилось за ним колдовское ремесло, мол, ходит, наговоры шепчет, нечистый дух призывает, а чтобы силы свои колдовские не растратить попусту, не курит и не пьет. А иные, чтобы страху напустить, поговаривали, что на крыше его дома однажды козу видели. Где же видано, чтобы у нормальных людей козы по крышам разгуливали!

После тетких пожеланий спрятал я Блонину книгу в амбаре, иногда картинки разглядывал да пытался их копировать. Слюнявил химический карандаш, переводил волшебных зверей на листы ученической тетради, но, как ни силился ее прочитать, не поддавалась она мне. Уж больно научно все изложено, заумно как-то.

– Ну что, сорванец, проснулся, давай-ка на обед! – увидев, что я открыл глаза, крикнул мне дядька Илья, наш лесник.

Это он деревенским делянки и площади для косьбы определял. Люди постепенно стали приходить к месту сбора, негромко обсуждали прожитый день, я сидел в стороне и смотрел на их натруженные руки с вспухшими венами, уставшие лица, разгоряченные косьбой.

– Хорошая трава сегодня, еще бы постояла погодка да подсушила бы ее. Ворошить сухое все ж сподручнее будет.

– Бог даст сена, в достатке будет кормилицам нашим.

– Уберечь бы скотину, а то, по разговорам, волки опять появились. Серенькины дня два назад в ночном вой слышали, видать, жрать неча, вот они к деревне и лезут.

– Ух, Блоня, волчара старый, наверняка, он накаркал. С неделю как за керосином ходил с ним, так он возьми да ляпни: «Что-то заяц пропал, в лесу один барсук, а зайца не будет, волк к нам пойдет».

– Хватит вам кости мыть, давайте-ка собираться. А пастухам ружьишко неплохо бы с собой на выпас брать, – прервал беседу Илья. – Страшного в этом ничего нет. Охотников в деревне много, если что, отгоним серого от деревни.

Собрав небогатые пожитки, люди неспешно пошли в направлении дороги. Хотя виду не показывали, но новость о волках встревожила всех.

Уже под вечер подошли к деревне. Вброд перебрались через речку. Вода как парное молоко, и я не отказал себе в удовольствии посидеть на берегу, окунув в воду гудящие от ходьбы по горячей земле ноги. Из головы не выходили разговоры про Блоню да про волков. «Неужто и впрямь колдун?» – думал я, озираясь на его дом. Да нет в нем ничего страшного, обыкновенный дед, не может он зла желать другим. Мне все про жизнь втолковывает. Ведь не зря же в мае он упросил тетку, чтобы я ему помог по хозяйству, поговорить ему хочется, детей и внуков нет, так он и рад уму-разуму поучить.

– Ты вот что, малец, кобылку с бороной поводи вот тут, – показывал он на вспаханный участок за его домом. – Тебе это не в тягость, а я уже не боец, силенки не те, уставать стал быстро. А потом я тебя чаем угощу, старуха хлеб испечь обещалась.

К вечеру, когда я закончил работу, он позвал меня в дом. В сенях стоял огромный жбан с ключевой водой, алюминиевая кружка с ручкой в форме крючка висела над ним, пахло кислым молоком и свежей выпечкой.

– Ты заходи, не робей, – слегка подтолкнув меня, сказал Блоня.

На полу лежали самотканые дорожки, в красном углу над лампадкой – небольшая икона. В доме чисто и уютно. На стенах красовались самодельные рамки с пожелтевшими от времени фотографиями. С них на меня глядели лица из прошлого. Одни из них позировали, другие непринужденно смотрели из-за потускневших стекол рамок. Все они из другой, не знакомой мне жизни. С которой уже никогда не соприкоснуться. Все они остались там, по ту сторону фотографических рамок, со своими чувствами, волнениями, счастьем и потрясениями. По ним, как по летописи, можно прочесть судьбы многих поколений. Может, это желание выставить напоказ свою судьбинushку, пусть даже запечатленную на фотоснимках? Смотрите, мол, вот вся моя жизнь. Коли пришел в мой дом, знай, кто здесь живет. Весь перед тобой, как на ладони.

– Вот это я после войны, – сказал Блоня. – Что, не похож? А это родители мои, вот этот с краю, видишь? Это тоже я, самый младший в семье, теперь один из всех остался в этой жизни.

Мы стали пить чай.

– Ты книгу-то мою читаешь?

– Читаю, – ответил я. – Только не все понимаю.

– Ничего, время подойдет, поймешь, оно ведь готовым надо быть, понять-то, разложить все по полочкам. Не только ты в рост идешь, и твоя душа тоже растет, обогащается, но только это руками не пощупать.

– А я вот, дед, и не знаю, где она у меня, душа-то. Тетка особо не поясняет: «Вырастешь – узнаешь!» Вот и весь разговор! А Серенькин говаривал, что на войне фельдшером сколько людей резал да зашивал, а душу ни разу не видел.

– Брешет твой Серенькин. Душа, паря, это промысел божий. Пока ты в утробе у своей мамки зарождался, боженька в тебя жизнь и вдохнул. Так и любая тварь на земле без души не пребывает. Вот камень взять, казалось, ничего в нем живого нет, холод один. Ан нет, он мудрее всех нас вместе взятых, он с самого зарождения земли нашей существует, и мудрость его в гармонии со всем сущим. И зверь так же живет, без излишеств, по законам божьим. А ежели законы эти не соблюдать, то равновесие нарушится, жизнь прекратится. Вот ты давеча

кузнечиков зачем отлавливал да ножки им откручивал? – спросил Блоня с прищуром. – Ради забавы, наверное?

– Для плотвички прикорм промышлял, – оправдывался я.

– Ну, для плотвички куда ни шло. Негоже попусту над живым глумиться. Раньше как родную сторону называли? Матушка, земля, кормилица... Дети мы ее. Дети, а не хозяйева! Ты, прежде чего сотворить, сто раз подумай, правильно ли делаешь, к совести своей обратись, душе.

Правда, не каждому ее дано иметь-то, совесть. Иной жизнь загубит и глазом не моргнет, и муки душевные его не донимают, а другой все оставшиеся дни кается из-за дурного поступка. Вот такие, сынок, дела. Да ты пей чай-то, а то я баснями своими тебя все кормлю. Поди, утомился на работе.

– Дед, а ты дай мне на завтра кобылку, к реке ее свожу, она ведь тоже отдых заслужила!

– А почему бы и нет? Только уговор, помощником мне будешь, когда сено ворошить время придет.

– А то!

– Ну, тогда валяй!

* * *

Следующий день стал настоящим подарком. Тетка, довольная тем, что получила от Блони небольшую плату за мою работу, отпустила меня на вольные хлеба. И я, окрыленный свободой, кинулся на поле искать Блонину лошадку. Увидев ее невдалеке, я приблизился к ней со стороны, чтобы не вспугнуть, и осторожно подошел к животному. Освободив ноги и накинув путы ей на шею, тихим шагом повел ее к реке. Лошадь в деревне – рабочая сила, и отношение к ней далеко от сентиментального. Но что-то тянуло меня к этим животным. О чем они думают? Как воспринимают мир вокруг? Ведь жизнь у них нелегкая. Иногда, наблюдая за ними, нутром своим понимал, что не животное это бессловесная, а чуткое существо, способное, наверное, как мы, любить и, как некоторые из нас, быть преданным. Жили у нас две лошаденки в деревне, обыкновенные, беспородные, крестьянские. Трудились всегда вместе, паслись тоже. Встанут, бывало, одна другой на холку морду положит, так и стоят, как влюбленная пара. Словом, неразлучные. Сподобилось кому-то продать гнедую, так другую силы покинули, работать не могла больше. Съездили, забрали лошаденку, деньги все вернули до копеечки, извинились. Люди там тоже с пониманием оказались, не воспротивились.

Верхом осторожно пробираюсь к воде через заросли осоки, спина у кобылки горячая, она останавливается и жадно пьет, а я ее не тороплю. Прижимаюсь грудью к ней, слышу, как пульсирует сердце – большое, доброе. Сползаю, держась за холку, беру охапку травы и растираю ей спину. Она отрывается от воды, смотрит на меня своими выразительными глазами, фыркает от удовольствия, губами касается моей руки. Я обнимаю ее за шею...

Очнувшись от размышлений, подумал, а не пойти ли к Блоне да рассказать ему про опасения дядьки Ильи, по поводу появления рядом с деревней волков. Как он оценит это, может, совет какой дельный даст. Мишки в доме не оказалось.

– А, это ты! – сказала бабка Тоня. – А дед-то поленницу кладет, ты глянь за домом.

Блоня, кряхтя, выравнивал поленницу, будто не дрова укладывал, а кирпичную стену возводил, и, не оборачиваясь, словно ожидал меня, промолвил: «С чем пожаловал, соседушка?»

– Дед, говорят, волки объявились, – едва отдышавшись, ответил я.

– Волки?

– Сегодня мужики на сенокосе разговор вели, промеж собой обсуждали.

– Волки, – задумчиво протянул он, – видать, волчий ветер подул, коли так.

– Что за ветер, дед?

– Да люди раньше старые сказывали, я еще мальцом по земле бегал, вроде тебя. Не знаю, правда или нет, может, со страху выдумывали. Волк, говорили, к человеческому жилью приходит только тогда, когда волчий ветер дует. Начинает он куражиться, вроде как обезумленный становится, боли не чувствует, на человека нападает, собак в клочья рвет. Но я такого не помню, давно уже волк в чащу ушел. Правда, заяц пропал нынче.

– Заяц?

– Ну да. Ему ж питаться надобно, как ты думаешь? Волк-то всеяден, может лягушкой не побрезговать, и ягода в ход идет. Другое дело, когда волчата появляются. На таком пайке они не выживут. Да ты не бойся, мало ли о чем в деревне языками чешут!

– А я не боюсь, вон, к тебе же хожу!

– Вот тебе раз! Так чем же я ужасен?

– Да говорят, что ты колдун!

– Ах, вон оно что, а ты уши-то и развесил! Все мое колдовство тут, под навесом висит, сушится, иди погляди.

– Так это трава какая-то?

– То-то и оно, трава. Лекарство это мое. За счет целебной травы и живу покуда. Если бы не она, лежал бы давно в сырой земле. Лес и луга наши меня оберегают, не дают загнуться. Война свое дело сделала, да, слава Богу, живой остался, с тобой вот беседую, – заулыбался Блоня.

В это время стукнула калитка.

– Кого это еще на ночь глядя несет? – С этими словами Блоня, опираясь на клюку, поплелся к калитке. На пороге, не решаясь войти, стояла Куколка, бабка Марфуша, одинокая женщина, коротавшая свой век на краю деревни. Дразнили ее Куколкой за маленький рост да почти детское личико. И только глубокие морщины, со временем обезобразившие лицо, выдавали ее возраст. Куколка носила косу, которую аккуратно укладывала бубликом на голове и тщательно прятала под платок. Тетки в деревне, несколько завидуя ее крепким волосам, с издевкой говорили: «Маруся, ты бы голову хоть открыла!» На что та отвечала: «А меня матушка приучила, что негоже девице ходить с непокрытой головой!»

Когда-то в детстве перестала Марфуша расти, так и осталась ребенком, наивным и добродушным. Кто называл ее блаженной, кто жалел за то, что жизнь так потешилась над ней. А Марфуша несла свой крест, не роптала. Злобы на людей не держала. Недаром лицо ее детским оставалось. Дом ей всей деревней ставили, да только необычное в нем все – маленькое. Дверь входная и та меньше обыкновенного, поэтому люди не особенно жаловали ее своими посещениями. Зато она каждый вечер к кому-либо навещалась в гости, скромно присаживалась к столу и, свесив ножки, пила чай. Со свойственной ей наивностью уж очень обижалась, когда ей намекали, что час-то поздний, пора и честь знать. Марфуша дула щеки и говорила: «А вот вчерась я гостевала у Царевых, так мы зараз двенадцать стаканов пили, да с конфетами». Но никто не гнал ее со двора, прижилось в деревне неписанное правило: не обижать Марусю-Куколку.

– Заходи, Марфуша, заходи, – увидев ее нерешительность, сказал Блоня, – чайку попьем, у нас вон еще гость томится, – кивком указывая на меня.

– Спасибочки, – пропела Куколка, – я, Миша, хотела у тебя попросить того сбора, что мне прошлый раз давал. Помог он мне, руки перестали болеть, огород собираюсь полоть, силы нужны.

– А че ж ты в ночь-то пошла, завтра днем и приходила бы, я б тебе и собрал, что надо, сейчас под навесом глаз выколи, ничего не видать.

– Да днем уж больно жарко, а я, пока дойду, так вся иссохну под солнцем. А лекарство твое с вечеру приму, как ты советовал.

– Ну, что с тобой делать, ожидай тогда. – Блоня не спеша пошел к навесу с травами.

– А ты чей, малец? Никак, Филатовых? Знала я твою маменьку, добрый человек, меня к себе в гости приглашала. Детей она уж больно любила, все мне поговаривала: «Дети – это ангелочки, они всей душой любят, и к ним без любви никак». – Куколка замолчала, а потом, погладив меня по голове, пропела своим детским голосочком:

– Никак без любви-то, никак.

Появился Блоня, с пучками травы в руках.

– Ну, куда тебе их положить?

– Да я так донесу, храни тебя Господь, Мишенька, пойду я, пожалуй.

– Ну, раз так, доброго пути.

Блоня проводил Куколку до калитки, а вернувшись, тяжело вздыхая и глядя в землю, уселся на скамейку. Потом, вдруг оторвавшись от своих дум, из-под бровей посмотрел на меня и спросил:

– Тебя-то дома не хватятся?

– Да я еще чуток, и побегу, – ответил я. – А почему, дед, люди разные? Вон Куколка – старая, а ростом как я, маленькая совсем!

– Маленькая, – повторил за мной Блоня. – Уж больно ты любопытный да наблюдательный не по годам. Ладно, ладно, не обижайся, это я так, в сердцах разворчался, – успокоил меня Блоня, увидев, что я потупил глаза. – Господь, сынок, нам испытания посылает, кого умом награждает, а кого глупостью. И смотрит, как ты справишься с баклажкой своей. Ведь иной и от ума сгинуть может. Дурное дело, оно ведь, как трясина затягивает, и не каждый из нее выползает. Вот, к примеру, надел ты портки новые, идешь по полю да нечаянно в грязь залез, запачкался. А потом еще и еще, уже не замечаешь, что в грязном белье разгуливаешь. Кажется, вроде бы как обычное дело. С тем, что Господь нам посылает, справиться можно, а вот свою дурь и невежество исправить ой как тяжело! А Марфуша-Куколка богом меченная, не от мира сего, как говорят. За глаза над ней, может, и потешаются, что не такая, как все, ростом не вышла, а в душе все равно жалеют. Да ты не равняйся со всеми, свою башку на плечах имей. Понял?

– Понял!

– Ну, тогда ступай, а то тетка тебе нагоняй даст за то, что припозднился.

– А с волками как быть-то?

– А про волков мы потом поговорим, бывай!

* * *

Волчонок появился на свет в конце апреля, когда в лесу еще местами лежал снег. С каждым днем снег темнел. От его таянья на земле оставались небольшие лужицы, сквозь спрессованную временем пожелтевшую хвою пробивались небольшие зеленые ростки. Река, освободившись от ледового панциря, вышла из берегов, разлилась больше обычного, затопив прибрежные луга. Волчица обустроила логово недалеко от реки, в том месте, где сваленные когда-то ураганным ветром деревья образовали что-то вроде навеса, а весенние паводки нанесли земли и песка, прочно закрепив конструкцию.

Он родился первым и некоторое время своего существования на белом свете не подавал никаких признаков жизни. И лишь когда волчица несколько раз толкнула его своим носом и стала старательно облизывать, волчонок начал дышать. Он инстинктивно тянулся к матери, чувствовал ее горячее дыхание, изо всех сил карабкался к ней. Запах материнского молока – его ориентир, потому как глаза волчонка еще закрыты. Жажда насытиться была настолько сильной, что он, расталкивая своих братьев и сестер, пробирался к волчице, повизгивая, тыкался головой ей в живот в поисках груди.

* * *

– Это ты, шельмец? – крикнула тетка, когда я звякнул черпаком, набирая воду в жбане. – Поешь картошку на столе да за водой сходи, вишь, воды-то нет в доме. Давай поживее, завтра рано вставать, пойдешь с Царевыми на выпас. Хлеб весь не съедай, на завтра себе оставь, а я тебе с утреней дойки молока в бутылку налью.

Тетка немногословна. Жизнь приучила ее к бережливости, даже в словах. Она старательно трудилась, ежедневно выполняя крестьянскую повинность. Удивляюсь, как этой хрупкой женщине удавалось содержать все хозяйство в идеальном порядке. Днем она позволяла себе немножко отдохнуть, уходила на свою, отделенную побеленной перегородкой, половину комнаты и ложилась на любимую перину. Ее кровать в доме пользовалась особым статусом неприкосновенности, не дай Бог, если я усаживался на нее, даже на застеленную. В доме поднимался ураган негодования, а мне доставался подзатыльник и обещания порки ремнем.

– Да где это видано, чтобы ты своей задницей на чистое белье плюхался, – кричала она, – у меня руки вон от воды уже ломают тебя обстирывать, сорванец ты этакий!

Но потом, через некоторое время, она подходила ко мне и, прижав к себе, говорила:

– Не зашибла я тебя? Ты уж прости меня, не сердчай. Но в следующий раз точно тебя крапивою отхожу, вихрастый!

* * *

Рано утром, как только забрезжил рассвет, потянулись буренки на луга с сочной травой, растянувшись по всей деревне. Илюшка Царев залихватски восседал на коне и покрикивал на коров.

– Куда, родная, куда!

Поддав лошади шенкеля, стал прижимать отставшую буренку к стаду. Она повиновалась и, подминая заросли полыни с крапивою, которые обильно покрывали откосные берега речки, неторопливо стала догонять стадо.

– А ты чо, малой, рот раскрыл! Вишь, разбредаются, кнутом, кнутом работай! А ну, дай я щелкну! – Подлетев ко мне, Илюшка схватил кнут и, крутанув петлю над головой, ударил кнутом о землю. Он «выстрелил», будто дробовик, эхом прокатившись по лесу и деревне. Коровы засеменили вперед, подталкивая друг друга выпирающими боками.

– Видал, как надо, а ты хворостинкой хлещешь. Кнут-то для чего?

– А я не могу, как ты, – ответил я.

– Во дает! Ладно, научим, а ну давай руку!

Взяв крепко за руку, он затянул меня на спину лошади, и мы продолжили путь вдвоем.

– Ты, когда кнут взял, главное, глаза береги и не одной рукой захлест делай, а всем телом. Двигайся вместе с ним. Ничо, пару раз ерзанешь себе по мягкому месту, сразу научишься. У меня вон батя, как приходит домой выпивши, так все норовит меня воспитывать да кнутом прикладывается. Так я научился от него увертываться, хоть в иллюзионе участвуй, – хвалился Илюшка. – А ну, давай, родимая, прибавь-ка, – посылая лошадь вперед, крикнул он, – держись за меня, а то потеряю тебя по дороге!

Пока коровы бродили по пастбищу, решили немного отдохнуть. Привязав коня к одиноко стоящей березе, мы побросали свои небогатые пожитки в небольшой лощине.

– У тебя пожарть есть чего-нибудь? – спросил Илюха, ослабляя подпругу. – А то в животе пусто.

– Молоко с хлебом, – ответил я.

– Пойдет, до полудня здесь побудем, а потом перейдем на другое поле, – глядя на стадо, сказал он. – Ну, давай свои припасы.

Отломав хлеба, мы по очереди опустошали бутылку с молоком.

– Вкусный у тебя хлеб!

– Тетка сама пекла, – похвалился я. – Мы покупным не пользуемся.

Тетка с вечера ставила опару, потом подошедшее тесто усердно месила припудренными мукой руками.

– Дай мне попробовать, тетя, – клянчил я.

– Вот неугомонный, на, держи!

Она отрывала небольшой кусочек теста, обмакивала его в муке и давала мне.

– Мы твой хлебушек рядышком с моим выпекаться поставим, а потом попробуем, чей вкуснее будет, – улыбаясь, говорила она.

Я очень старался и копировал ее движения.

– Вот чертенок, весь в муке вывалялся, а ну давай показывай свою работу!

Она отточенными движениями на деревянной лопате погружала хлеб в печь, приговаривая:

– Ну, с Богом!

Я с нетерпением ждал исхода и, когда хлеб появлялся на столе, пытался отломить небольшую хрустящую корочку, за что получал по рукам.

– А ну не тронь, – строго говорила тетка, – хлеб должен свое постоять!

Она бережно накрывала его расшитым полотенцем и, разгоряченная печным жаром, присаживалась на скамейку у стола.

– Ну, вот и хорошо, – вздыхала она. Потом смотрела на меня и спрашивала: Чей хлеб первым будем пробовать?

– Мой, мой! – отвечал я.

– Так угощай, коли твой. Твой повкуснее моего будет, – улыбалась она, – ты, наверное, какие-то заветные слова знаешь? Не забудь хозяина угостить.

Она брала кусочек хлеба и оставляла его у печки.

– А кто он, хозяин?

– А домовенок наш. Как ему хорошо, так он и нас не забывает. И наши дела, как по маслу. Ну, а если чего недоброго он почует, жди от него сюрпризов, – серьезно говорила тетка.

Илюшка, утолив голод, растянулся на траве, сладко потягиваясь, приговаривал:

– Эх, хорошо! Ща бы вздремнуть часок-другой!

Он оторвал травинку, водрузил ее в уголок рта и задумчиво протянул:

– А в городе лучше жить, там хоть развлечения есть, не то что у нас – тоска смертная! Сел на трамвай или автобус, катайся себе целый день или в кино можно сходить, мороженое поесть! Школу кончу, в город уеду, – утвердительно заявил он, – подальше отсюда.

– А мне в городе не нравится, – сказал я, вспоминая наше с теткой путешествие в районный центр. – Зловредные там все какие-то.

Илюшка прикрыл глаза и, погружаясь в полудрему, спросил:

– Глянь, коровы не расплзлись?

Я на четвереньках вскарабкался на край лощины. Наши подопечные мирно паслись, разбредясь по полю.

– Надо бы собрать, – громко сказал я.

– Чо кричишь? Не в лесу, успеем, ща немного вздремну, ты поглядывай, поглядывай.

Я подошел к лошади, она мотнула головой, отгоняя назойливых оводов. На земле, будто огромный питон, лежал кнут. «Нет, пожалуй, пока не буду его брать», – подумал я и, пытаясь сохранить равновесие, пробежался по его плетеной косичке, как по мостику.

* * *

Некоторое время спустя, решив, что Илюхе достаточно спать, я направился в лощину. Он калачиком лежал на траве, подтянув под себя длинные ноги. Мои попытки растолкать его не привели к успеху, и я уже намеревался выбраться наверх, как услышал отдаленный лай собак. Он то пропадал, то появлялся вновь. Лаяли где-то в лесу, вздох, звонко. И вдруг я отчетливо услышал их голос где-то рядом. Лай усиливался, свора приближалась к нам. Выскочив наверх, стал всматриваться в силуэты деревьев, как заметил какое-то движение на опушке леса.

– Илюха! Илюха! – закричал я. – Бегом сюда, кажись, собаки оленя гонят!

Появившийся рядом со мной сонный Илюха, не до конца понимая, что случилось, сладко зевал, тер глаза кулаками.

– Чего ты такой горластый?

– Да вон, смотри, олень!

Он прищурился и, без всякого удивления, широко раскрывая рот, зевая и растягивая слова, произнес:

– Сам ты олень, лось это. А ну давай в лощину, он как раз на нас идет.

Спрятавшись, осторожно высовывая голову из травы, я увидел, как в метрах тридцати из-за холма появился огромный лось. Он бежал, высунув набок язык, задрал вислогубую морду так, что его могучие рога почти касались спины. Собаки, несколько отстав, не переставали лаять. Лось, ослабев от изнурительного бега, перешел на шаг и, когда первая собака приблизилась к нему, резко развернулся и ударил ее передними копытами. Удар был такой силы, что собака отскочила на несколько метров. Остальные, не решаясь приближаться, с остервенением лаяли на зверя.

– Ой, загонят до смерти лосяру, – выдавил Илюха и, оттолкнувшись от земли руками, побежал в сторону лошади. Схватив кнут и волоча его за собой, он направился в сторону лесного великана. И когда расстояние до собак сократилось, ударил им несколько раз. Не ожидая такого поворота дел, собаки, поскуливая, разбежались в стороны, а лось, расставив широко передние ноги, смотрел на Илюху.

– Ну, что уставился! Давай уходи! Эй! – Илюха, набрав воздуха в легкие, что есть мочи засвистел. Лось неторопливо повернулся и пошел в сторону леса.

– Эх ты гордый какой! Щас я тебя провожу! – Не выпуская из рук кнут, он добежал до лошади, скинув седло, заскочил на нее – и с ходу в галоп. Лось, уставший от преследования, не обращал на Илюху внимания. И лишь когда тот пытался достать его спины плетью, зверь ускорил шаг. От резких звуков и свиста пастуха коровы переполошились.

Вернувшись, Илюха, будто забыв про меня, рысцой объезжал поле, собирая разбредавшихся буренок. Его белокурая, выцветшая на солнце шевелюра виднелась издали. Спустя некоторое время он направился к лощине.

– На-ка, поддержи коня, – сказал он, – седло пока не надевай, вон, спина мокрая вся.

Нарвав травы, он с усердием стал растирать лошади спину, рукавом смахивая пот со лба.

– Ну вот, порядок, пусть еще чуток постоит, а то угробим лошаденку. Видал, лось-то какой? Это тебе не телок! Как он собаку лягнул, наверное, душу из нее выбил!

– Оклемалась вроде бы, – ответил я. – Рога у него какие здоровенные!

– Ерунда, я прошлую осень в лесу еще больше нашел, только домой дотащить не смог, уж больно тяжелые.

– Как это нашел?

– Да сбрасывает лось рога. В лесу сбрасывает, у него потом новые растут. А если хочешь узнать, сколько ему лет, отростки посчитай. Да только толку с них, с этих рогов, никакого

нет. Одна возня бестолковая, добра всякого в лесу полно, только некогда мне этой ерундой заниматься, – сказал он, шмыгнув носом.

* * *

После обеда мы перегнали стадо на другое поле. Илюха все больше молчал, строгал палку, ювелирно снимая тоненькие стружки. На мои вопросы что-то бурчал себе под нос или старался вовсе отмолчаться, давая мне понять, что не желает вести беседу. В этом весь Илюха, вспыхивал как искорка и быстро угасал. Бедовый, мог без оглядки взяться за любое рискованное дело, а иной раз становился несговорчивым, упрямым, и никто не мог переубедить его. А уж дрался отчаянно, не щадя себя бросался на защиту, если чувствовал несправедливость. Как-то в октябре, когда только выпал первый снег, угораздило в деревню заехать соседским парням с Новокрасного. Проезжая между домов, задирали наших. Так повелось, что дрались с ними всегда. Почему дрались? Никто толком сказать и не мог. Ответ один, потому, что они – новокрасные, а мы – с выселок. Так вот, двигаясь мимо Илюшкиного дома, крикнули в его адрес что-то неподобающее. А он, хватанув попавшийся под руки кол, рванул на обидчиков. Один против семерых! Но те окружили его и, выбив палку из рук, стали гонять в круге. Илюха размашистыми движениями ловко парировал удары, но силы не равны. И когда его сбили с ног, Илюха смешно крутился на спине, дрыгая ногами, умудрялся зацепить ими противника. Несдобровать было бы ему, если бы не помощь. Мужики выскочили из соседних домов кто в чем, лишь бы Илюху отбить. Новокрасненские, увидев такой оборот, быстро ретировались, попрыгав в телегу, и – ходу из деревни. Мужики подняли Илюху, он стоял, утирая разбитый нос, повторил: «Ничо, мы еще поквитаемся, еще свидимся!»

Подскочили дед Серенькин и Царев-старший, у того ремень на руке намотан, да со всего маху как огреет Илюху по спине!

– Ты чего, дурень, на рожон лезешь! Покалечат, дуралей! Ты нюни-то красные подбери, чего распустил, иди утрись!

И тут, когда все начали приходить в себя, увидели, что дед Серенькин-то в исподнем выскочил. И давай смеяться!

– А тебя, дед, какой черт принес, ты ж еле ходишь, а все норовишь за молодыми угнаться! Хорошо хоть портки надел, а то ж всех баб в округе распугаешь своим хозяйством!

Дед, не смущаясь, пытался их перекричать.

– Да я с ними дрался, когда вы еще под стол ходили, у меня еще силенки остались, не в пример вам, – кричал он, держа одной рукой штаны, – это сейчас дохляки пошли, одной соплей перешибешь! А ну давай, давай сшибемся, – распалился Серенькин. – Можя, отведаешь моей оплеухи?

– Сейчас тебе бабка оплеух навешает, тикай, дед, домой, пока не поздно.

У дома металась Матвеевна – жена Серенькина.

– Куда старый хрыч полетел? Стыдоба-то какая, иди домой оденься, наготу свою прикрой. Вся ж деревня тобой любитесь!

– Да иду я, иду, – пропел Серенькин, – что ты маешься, старая. – Он засеменял к дому под общий смех.

– Дед, штаны не потеряй!

* * *

Домой возвращались молча. Илюха вел под уздцы лошадь, я шел рядом, разглядывая окрестности. Песчаная дорога, по которой мы шли, пролегла в стороне от деревни. Она огибала гречишное поле, а потом выходила на косогор, с которого видны наши дома. Ноги слегка

проваливались в песок, обочины набухли, размытые летними дождями. Вода не держалась на поверхности, мутными ручьями после обильного дождя буравила землю, просачивалась сквозь песок. И как только выходило солнце, дорога высыхала моментально, лишь рытвины напоминали, что на ней стояла вода. Преодолев небольшую впадину, я увидел наверху заросшие полынью и шиповником развалины старого дома.

– Илюха, это чей дом, случаем, не знаешь? – пытаюсь разговорить молчуна, спросил я.

– А кто его знает, – пробурчал он, – слышал, что помещик вроде здесь жил, лет сто назад.

– Так и сто?

– Камень на реке у извилины видал?

– Видал, я туда рыбачить ходил.

– Знаешь, как прозвали то место?

– Да «Бык» его зовут, этот камень.

– Верно, а знаешь почему? Там мельница стояла, запруда. Муку там мололи, а возили ее на быках. Вот место и прозвали «Бык». А мельница тоже помещика, да у него много чего водилось.

– Пойдем посмотрим развалины, уж больно интересно!

– Да чего интересного, кирпичи одни, я там сто раз бывал. Ничего там интересного нет.

– Пошли, Илюха, – клянчил я, – ты рядом постой, а я одним глазком посмотрю.

– Шут с тобой, пошли, только быстро, не то стадо без нас домой придет. Будут опять ворчать: «Где пастух? Коровы без присмотра идут».

Мы подошли ближе. Цепляясь за шиповник, я пролез к развалинам стены. Дом построен из красного кирпича, стены толстые, между кирпичами ни одного зазора. На совесть строили. Кое-где болтались остатки штукатурки. В местах, где некогда стояли оконные рамы, сохранилась деревянная труха.

– Жил-жил человек, дом себе строил. Не ведал, поди, что с его домом станется, – вздохнув, сделал вывод Илюха, – все прахом пошло.

Он ловко перепрыгнул на деревянное перекрытие из массивных бревен, которые служили опорой для пола. Потом спустился вниз, так, что торчала одна голова.

– Иди сюда, ты что там копаешься, – позвал он меня. Голова Илюхи нырнула вниз, некоторое время слышалась какая-то возня. Потом Илюха как поплавок выскочил, стряхивая пыль с головы, и, задрав руку вверх, крикнул:

– Смотри, что нашел!

Выбравшись наружу, он, выбивая из себя пыль, протянул мне свою находку – покрытый налетом ржавчины большой граненый гвоздь с ушком, в котором находилось кольцо. Кольцо со временем пристыло к ушку, так что подвинуть его было невозможно. Илюха, взяв осколок красного кирпича, усердно потер гвоздь, осторожно сколол ржавчину с кольца и попытался его пошевелить. Кольцо поддалось, наросты постепенно отваливались.

– Древняя штукovina, – сказал он, довольный.

– А что это? – спросил я.

– Гвоздь кованый, видишь, даже клеймо осталось. Наверное, крепеж для люльки, в потолок вбивали. Вечный гвоздь, – ответил он, покрутив им перед собой.

– А тебе на что этот гвоздь?

– В хозяйстве приходится. А так сгниет в земле попусту.

– Подари, Илюха. Я отродясь таких не видел, ребята мне завидовать будут. Подари.

Илюха, поразмыслив, сказал:

– Ладно, держи, я себе еще найду. Я здесь часто хожу, как-нибудь засветло еще покопаюсь.

Мы стали пробираться к дороге.

– А ну стой! – зашипел Илюха, сдерживая меня рукой. – Он осторожно раздвинул колючие ветки шиповника и, взяв меня за воротник, подволок к себе. – Смотри!

На ветке, как раз в том месте, где она раздваивалась, крепилось гнездо со скорлупками от яицек. Они лоснились, покрытые небольшими серыми пятнышками. Судя по всему, жильцы уже покинули гнездышко, рядом висели ключья паутины, в которых запутались сухие листочки шиповника. Я попытался протянуть руку к гнезду, но Илюха остановил меня.

– Не тронь! – цыкнул он.

– Да ведь там нет никого, – удивился я.

– Ну и что? Они еще вернутся!

– Кто – они?

– Птенцы. Вырастут и вернутся домой. Тебя же домой тянет. Так и они, обязательно прилетят. – Он внимательно рассматривал гнездо, рукой удерживая упругую ветку. – Странная штука, – задумчиво сказал Илюха, – дом давно разрушен, а жизнь продолжается, вот теперь новые жильцы заселились. Выбирайся аккуратно.

Сунув находку в мешок с пустой бутылкой из-под молока, мы отправились домой. Гвоздь позвякивал о бутылку в такт ходьбе.

– Он еще и музыкальный, – улыбнулся Илюха и, что-то напевая, стал чеканить шаг, как бравый солдат.

– Илюха, птенцы правда вернутся? – не унимался я.

– Правда!

– А как же ты в город собрался из родных мест, вон птицы и те домой возвращаются?

– А я ненадолго, поживу там чуток, и обратно!

* * *

Волчица не выходила из логова. Удача пока не оставляла Матерого, и он всегда возвращался с добычей домой, это значит, что у Волчицы будет молоко, а волчатам оставался шанс выжить. Волчица не подпускала его к приплоду, и он, повинувшись неписаным законам, оставлял добытое у логова, отдохнув некоторое время после длительных переходов, уходил обратно в лес. Его рейды в поисках пищи становились все длиннее, но, несмотря на это, он не рисковал приближаться к человеческому жилью. Еще свежи в памяти события годовалой давности, когда Матерый уходил от погони, и лишь только сильные ноги спасли ему жизнь. Но это в прошлом, а с февраля он, отделившись от стаи, уводил волчицу на новые уголья, подальше от тех мест, где властвовала волчья смерть. Он знал, что человеческое жилье не так уж и далеко. И там в достатке пищи. Но рядом с людьми – собаки, а это означало верную гибель для него и его потомства, и если он переступит запретную черту, ему будет несдобровать.

* * *

Забежав на крыльцо, я сделал несколько глотков из ведра с колодезной водой. Вода, наливая до краев, заволновалась, мое отражение в ней стало растекаться кругами, принимая вид, будто в кривом зеркале. Я опустил лицо в воду, но, обжегшись, отпрянул от холодной поверхности и, покрывивая, стал растирать щеки. Потом, оглянувшись по сторонам и удостоверившись, что тетки нет во дворе, я быстро стащил рубашку и окатил себя по пояс ледяной водой. Дневная усталость быстро улетучилась.

– Это я тебе воду натаскала, что ли, плещешься на крыльце, как утка!

– Теть, я немного попользовался!

Накинув рубашку на мокрое тело, вошел в дом. Тетка сидела за столом, увидев меня, устало спросила:

– Утомился за день на солнце, есть-то будешь?

– А как же, – ответил я, – в животе вон урчит от голодухи. А ты чего, не будешь со мной, что ли?

Она молча встала из-за стола, поправила передник и пошла к печке. Картошка была еще горячая, и я, обжигаясь, лушил ее, пытаюсь остудить, дул на картофелины. Тетка смотрела на меня, но на мое жонглирование за столом не сделала ни одного замечания, хотя в других случаях она всегда урезонивала пыл.

– Теть, случилось чо? – с полным ртом картошки спросил я.

– Да ты прожуй для начала, ешь, не болтай. Да ничего не случилось. Так, в думках своих. Вырос ты у меня, вон, большой какой стал. Еще немного, да не удержу тебя, мотнешь из деревни, молодежь нынче здесь не задерживается, все норовит в город уехать.

– Да не уеду я никуда, на кой мне этот город сдался!

– Это сейчас ты такой бравый, а потом нос по ветру, и поминай, как звали. А город, как трясина, засосет, и дорогу домой забудешь. Ты уж не бросай меня, ладно? – жалостливо пропела тетка. – Помру я одна-то.

– Да что ты, в самом деле, сказал же, не поеду в город.

– Ты уж помни, кто ты, откуда родом, где корни твои. Все в памяти держи, что бы ни случилось.

Я смотрел на тетку, мне почему так стало жалко ее, что подкатил ком к горлу.

– Я же не Сашка-карась, теть, ну хватит тебе тоску нагонять.

Сашка-карась – наш сосед. В двадцать лет уехал в город и лишь изредка навещался домой. А когда женился, и вовсе перестал ездить. Но как-то в деревню все-таки заявился. Александр Петрович, как он себя называл, с собой на отдых привез жену, двоих малых детишек и новенький фотоаппарат «Зенит», который на кожаном ремешке торжественно висел у него на груди. Немного пообвыкнув, он стал захаживать в дома и, поделившись городскими новостями, предлагал хозяевам: «Давай-ка я вас щелкну. Все же память какая-то будет, да и по деньгам у меня дешевле, чем в любом ателье». Узнав, что услуги Сашкины не бесплатные, многие отказывались, ссылаясь на занятость. Но все же желающие нашлись.

В то время как Сашка занимался фотографированием, его женушка загорала на речке, устроившись аккурат напротив фермы. Но, конечно, не потому, что там стояла ферма, а из-за того, что песок там лежал чистый и берег пологий. Идут бабы на ферму, а Сашкина краля на песочке греется, в очках от солнца, ну и, как положено на пляже, в купальном костюме. Лежит целыми днями, только позы меняет. «Как же так можно, срамоту свою напоказ выставлять! – галдели тетки. – Неужели в городе так заведено, стыдоба-то какая!» Осуждение – это не приговор. Они искренне недоумевали по поводу поведения на людях городской дамочки. Как ни странно, стыдились они, а не городская особа. Так повелось с давних пор, смущение могло вызвать все, что шло вразрез с устоявшимися традициями или могло нанести нравственный вред, особенно неокрепшим детским душам.

А Сашка, разузнав, что возникла необходимость запечатлеть передовиков сельского хозяйства, да еще с этого денегат поиметь, прописался на ферме. Докучал бабам с утра до вечера, прямо-таки работать не давал. В один распрекрасный день, остановив Людку Елохину, когда та грузила пустые бидоны из-под молока на телегу, Александр Петрович принялся ее уговаривать послужить фотографической моделью.

– Людмила, вы не представляете, какой оригинальный снимок мы с вами сейчас организуем. Вы, самое главное, естественно себя ведите, только бидоны в руки возьмите и мне улыбитесь.

– Да времени у меня нет тут изгаляться перед тобой, бидоны ждуть, да и не в одежде я, – отвечала Людка, поправляя полы белого халата.

Кое-как уговорив ее, Сашка, сделав с десяток дублей, вконец уморил Людку своими позициями.

– Людочка, последний снимок, ну не сердитесь вы так, – извиваясь ужом, пел Сашка.

Людка пыжилась, таская бидоны, а Сашка, выбирая снимок в нужных ему ракурсах, залез на фермерскую ограду, по-ковбойски закинув за спину соломенную шляпу. И, устроившись поудобнее, принялся фотографировать Елоху. Все бы ничего, да в это самое время в загон на прогулку вышел бык-производитель Егор и, узрев неслыханную дерзость Сашки посягнуть на его территорию, легкой рысцой направился к нему, прицеливаясь в Сашкин зад, который свисал с перекладины прямо на уровне Егоркиных рожек. Удар получился несильным, потому как Сашкин зад оказался узким и уместился в самый раз между бычьими рогами. Опомившись, уже на земле, Сашка первым делом стал искать фотоаппарат. Но его и след простыл. Людка, сперва сильно испугавшись, собралась голосить, но, увидев Сашку-карася целым и невредимым, с навозной маской на лице, принялась зычно гоготать, так, что на улицу высыпали все доярки. Карась ползал на карачках в поисках «кормильца» и, забыв про городское приличие, раздвигал руками навозные кучи.

– Чего ржете, деревенщина неотесанная, открыли свое хайло, дай вам волю над людьми поизмываться! – кричал он в отчаянии. – Совсем одичали здесь, ничего человеческого не осталось!

– Куды ж твоя интеллигентность делась, Карась? Никак, в навозе утопилась, – отвечала Людка. – Да ты лицо пойди смой, а то как тебя твоя краса целовать будет! Ведь побрезгует!

Отыскав фотоаппарат, Сашка помчался к реке в надежде освободиться от ненавистного грима.

– Ляксандр Петрович, погоди, предмет гордости забыл! – крикнула Людка, поднимая позеленевшую соломенную шляпу. – Солнце голову напечет!

– Да идите вы! – не оборачиваясь, цыкнул Сашка.

Окунувшись в воду, не снимая одежды, горе-фотограф кое-как отмылся, чертыхаясь, разложил одежду просушиться. Он уселся на горячий песок и принялся выковыривать из фотоаппарата инородное вещество. Приближалось обеденное время, и на поле к ферме потянулись бабы, погрomyхая ведрами.

Сашка, не желая попадаться им на глаза, юркнул в кусты репейника. Но в репейнике мелкая мошка облепила мокрую одежду горе-фотографа. Да, вдобавок, цепкие колючки впились в нее. Он выглядывал, чтобы оценить обстановку, но клиновидные листочки мешали ему, вконец разозлив его. Чертыхаясь, Сашка вылез из зарослей, спрятал за пазуху фотоаппарат, пошел к дому матери.

– Санечка, чаво случилось? – увидев его, спросила Куколка, которая, как нарочно, стояла у своего домика, опершись на изгородь.

– А то не видишь! Все-то вам надо знать, везде свой нос засунуть, – на повышенных тонах крикнул Карась. – Не пройти мимо! Обязательно человеку надо косточки помыть! А если кто живет лучше вашего, так вас завидки давят. Выжигать каленым железом надо ваше невежество деревенское!

– Это меня? Меня каленым железом, Санечка? – Куколка, надув щеки, с удивлением смотрела на Сашку и вдруг заплакала, как ребенок. Потом, вытирая слезы краем передника, отвернулась от Карася.

Но он равнодушно отвел глаза. Толкнув плечом калитку, забежал в дом, едва не сбив мать.

– Сынок, где тебя так угораздило? – удивилась мать.

– Да оставите вы меня в покое или нет! – крикнул Сашка. – Тарашите глаза! Мокрого человека, что ли, не видели! Дикость какая-то! Необузданная деревенщина! На черта я сюда

поташился! Говорила мне Галя, езжай, Саня, на курорт, сдалась тебе эта вонючая деревня, – повизгивал Карась.

Мать молча смотрела на Сашку, а тот в одних портках на коленях стоял перед раскрытым чемоданом, перебирая чистые рубашки.

– А я ведь по-доброму хотел, немного народ к культуре приобщить, уровень развития поднять, ведь ничего в духовной культуре не смыслят. Немытая Россия!

На следующее утро Сашка на подводе со своим семейством отбыл восвояси. Какой разговор у него состоялся с матерью, никто не знает. Только Пелагея в этот же день, после отъезда Сашки, при всех извинилась за поведение сына.

– Люди добрые, не сердчайте на моего Саню. Чего он уж там, в городе, набрался, не могу понять. Образумится Сашка, время пройдет, образумится. Христа ради, не держите зла. – Она краешком передника промокнула влажные глаза и, окинув всех взглядом, низко поклонилась.

– Будя, Пелагея. Не в обиде мы на него, не бери в голову. Нечего спину попросту гнуть, – взяв ее под руку, сказал Блоня. – Ты не отгораживайся, заходи вечером, чайку попьем, поговорим по-стариковски.

* * *

Дома, наскоро поужинав, уставший, я завалился на кровать. Прокручивая увиденное за день, не мог никак заснуть. Ворочался с боку на бок.

– Чего ты не спишь, мне мешаешь уснуть, – ворчала тетка.

– Да что-то сон не приходит, – отвечал я.

– Не приходит, – повторила она, – давай-ка спи, угомон тебя возьми.

Я силился заснуть. Мысли одна за другой пролетали в моей голове, картинка за картинкой сменяли друг друга...

Мама сидела у моей кровати и напевала колыбельную:

Котя, котенька, коток,
Котя – серенький бочок,
Придет котя ночевать,
Мое дитяtko качать..

Она гладила меня по голове и улыбалась. Волосы у нее заплетены в косу. Руки нежные, теплые. Но вижу, будто дом не наш, а тот, в котором мы с Илюхой сегодня были. Стены его разрушены, но внутри комната, в которой мы с мамой, не тронута. А мама говорит: «Люльку вот нечем закрепить».

И смотрит вверх. А там ни потолка, ни крыши нет. Говорю ей: «А зачем же люльку, я же ведь большой уже». А она меня не слышит. Думаю про себя, ведь у меня гвоздь кованый есть, им-то можно люльку закрепить. Мама встает.

– Ты куда, мама?

– Да пойду дверь проверю, закрыта ли, – говорит она. Кричу ей:

– Да нет там дверей, подожди, не уходи!

Вдруг просыпаюсь посреди ночи, на глазах слезы, тру их одеялом, хочется опять увидеть маму, сердце колотится, проваливаюсь в беспамятство...

* * *

Волчата росли, но, по-прежнему, из логова они не выходили. Даже если кто-то из них пытался выбраться наружу, волчица пресекала эти попытки на корню. Уж больно много опас-

ностей подстерегало их. Но любопытство с невероятной силой толкало их вперед. Их не пугали слепящий солнечный свет, неизвестные звуки. Неведомый мир манил. И только тогда, когда волчица стала уходить вместе с Матерым на охоту, появилась возможность послушаться мать. Волчонок неуверенными шагами приблизился к краю логова, вытянул свою большую голову. Его задние ноги дрожали от напряжения. Незнакомые запахи хлынули на него. Он попятился, неуклюже сев, жалобно заскулил. Чутье подсказывало ему: то, что находится за пределами дома, не совсем дружелюбно к нему. Но матери рядом нет, и остановить волчонка некому, а братья и сестры только подпирали сзади. Приходилось выходить наружу.

Небольшая площадка у логова слегка утрамбована волчьими лапами. Первые шаги волчонка выглядели неуверенными, он вытягивал мордочку в поисках знакомого запаха. Лавина новых звуков обрушивается на него, отчего он теряется и, делая несколько шагов вперед, натывается на сучковатую ветку, которая причиняет ему боль. Он теряет равновесие и, слегка поскуливая, валится на бок. Неуклюже встает, солнце, пробиваясь сквозь кроны деревьев, слепит, и он, закрыв глаза, направляется в заросли травы. На удивленье волчонка, трава оказывается мягкой, и он без всякого сопротивления движется вперед. Инстинкт самосохранения сдерживает его любопытство, и он возвращается.

* * *

Продираю глаза, на улице кто-то громко разговаривает. Лучи солнышка пробиваются сквозь занавески. Это тетка о чем-то говорит с Васькой-моряком. Он стоит, облокотившись на изгородь, рядом телега с запряженной в нее пегой лошадкой. Васька громко смеется, в культе зажата папироска. Он периодически попыхивает ею, выпуская колечки табачного дыма, другой культей пытаясь отогнать дым от тетки. Потом, попрощавшись, бросает окурок, давит его носком сапога и лихо запрыгивает в телегу. Лошадь, почувствовав хозяина в телеге, рвет с места без команды. Васька пропадает в клубах пыли. Тетка смотрит ему вслед, качает головой, поправляет косынку и идет в дом. Васька-моряк моряком-то никогда и не был. Перед самым призывом в армию в метель попал, заплутал да руки себе отморозил, так, что оттяпали ему все пальцы на руках, взамен оставив уродливые культы. И все мечты о море, которыми он грезил, остались лишь мечтами. Но тельняшку, каким-то служивым подаренную, с себя не снимал. О море на дух разговоров не переносил. Деревенские об этом знали и, чтобы Васька не нервничал, таких бесед при нем не водили. Силы, несмотря на уродство, в этом мужике, как, впрочем, и дури, предостаточно. Однажды на спор со скотником мерялся силой с полуторагодовалым бычком и чуть не задушил его, хватанув своей железной хваткой за шею. Только вопли скотника привели Ваську в чувство. Красный, как рак, он, выпучив глаза, смотрел вокруг. А скотник, мгновенно отрезвев, бегал вокруг Васьки, боясь попасться под его горячую руку, и кричал:

– Остынь, Васек, остынь, говорю, чего творишь-то! В тюрьму ж за тебя сяду!

Боялся Васька только свою жену. Она, несмотря на свой тщедушный вид, держала его в узде. И, погуляв от души где-нибудь с мужиками, он, как нашкодивший кот, возвращался домой тише воды ниже травы. Но это не спасало его от возмездия. Он клялся, божился, что пить горькую больше не будет. А она, видя помятую физиономию Васьки, рыдая, кричала ему:

– Мало тебе, наверное, оттяпали клешни-то, надо еще поболее, чтобы стакан вываливался! Да рот твой поганый зашить! Сколько же самогонку жрать-то можно, бесстыдная твоя рожа!

И все это повторялось в следующий раз, и никто уже не верил, что Ваську можно перевоспитать. Но случилось непредвиденное, Васька бросил пить. Что произошло с ним и какая причина этому, в деревне сказать никто не мог. Только некоторые видели, что жена Васькина

до этого события к Блоне навевалась. Но Блоня молчал, не в его правилах о чужой жизни кривотолки разводиться. Так и свыклись все, что Васька-моряк стал трезвенником.

В доме тетка подходит к иконе, крестится, читает молитву:

– Пресвятая моя богородица, спаси и помилуй, моли Господа Бога о нас. Прости нам согрешения вольные и невольные. Отведи от нас все напасти, не дай злему демону.

– Теть, что случилось? – спрашиваю я, выглядывая из-под одеяла.

Она заканчивает молитву, крестится три раза, а потом поворачивается ко мне.

– Проснулся? Да ничего не случилось, мужики вон предупреждают, чтобы поосторожнее в лесу, волки вроде бы где-то появились. Ты, смотри, без надобности не шастай. Понял, что говорю-то?

– Понял, – ответил я.

– Да вставай, уже пора, нечего разлеживаться, птицу кормить надо, поможешь мне. Давай, давай, лежебока, поднимайся!

* * *

Мне не терпелось показать гвоздь Блоне, рассказать ему о находке. Но Блоня, увидев дырку в кармане, через которую торчало острие гвоздя, опередил меня.

– Зачем штаны портишь, тетка нагоняй даст, а то и сам поранишься. Кто так опасные предметы носит?

– Да какая в нем опасность, гвоздь это обыкновенный! – С этими словами я извлек его из кармана и протянул деду.

Он внимательно рассмотрел гвоздь, вертел его в руках. Прищуриваясь, пытался прочесть клеймо на шляпке.

– Никак, из старого дома? Да, – тяжело вздохнул он. – На века строили, мыслили жить вечно. Чтобы поколения в нем выростали, на глазах стариков молодая поросль поднималась. А вот знаешь ты, малец, али нет, что слово дом означат? В школе учат нынче этому?

Я попытался что-то сказать, но Блоня меня прервал.

– Вот первая буква «Д», представь ее. Вообразил? С виду она крепкая, будто основа, фундамент, что ли. По старому «Д» читалась – «добро», значит, от нее добром веяло. Так, – потер ладони Блоня. – Следующая у нас какая буква?

– О-о-о! – громко крикнул я.

– Да не щебечи так громко, я не глухой, – крикнул дед, потеряв мочку уха. – «О», сказываешь? На что похожа? Правильно, на круг. Чего круг? Как я тебя учил? – Он выжидающе посмотрел на меня. – Жизни круг, голова ты садовая! Дом – это вместилище жизни, все здесь по кругу идет. Рождается человек, растет, взрослеет, стареет и умирает. Далее «мыслете» у нас слово формирует, по-нынешнему «М». Это буква особая. Она прародительница всего сущего. Ма-а-агушка, – ласково сказал Блоня. – Вот и выходит, что дом – не просто обиходное слово, а место, где жизнь зарождается и поддерживается, чтобы не угасла совсем. Только вот загадка для меня, почему нынче так просто люди бросают свой кров, обрубают корни с одного маху. Без оглядки несутся из родных мест в городскую трясицу.

Не могу умишком своим понять, почему человек, как мотылек, летит на яркий свет, ведь знает, что обожжется, крылышки подпалит. Эх, да ладно. Ты хоть понял что-нибудь из моей болтовни?

– Угу, – промычал я, пытаюсь сделать серьезное лицо, – понятно, чего уж там.

* * *

Матерый с волчицей взяли кабаный след, судя по набитой тропе, шла большая семья. Тропа вела к месту, где егеря ставили прикормку. Волки, гонимые голодом, двинулись в направлении, откуда ветер доносил запахи кабаньего местопребывания. Волчица бежала впереди, Матерый держался рядом. За несколько метров до делянки Волчица остановилась. Вытянув все тело, она вдыхала воздух, потом, прижавшись к земле, медленно поползла вперед. Иногда останавливалась, прерывистое дыхание после затяжного бега мешало ей.

Матерый, сделав несколько небольших кругов, осторожно пошел через валежник на другую сторону от волчицы, на случай, если кабаны начнут уходить от преследования.

Почувствовав неладное, кабаны сбились в кучу. Огромный секач, громко похрюкивая, вышел вперед, заслонив собой поросят. Беспokoйно передвигаясь по делянке, он носом подбрасывал дерн, резко останавливался и принимал угрожающую позу. После чего, как по команде, кабанья семья бросилась в бурелом.

Матерый не рискнул нападать на них, слишком уж силы неравны. Двоим волкам сложно справиться с таким секачом, а достать маленького кабанчика трудно из-за наваленных веток. Можно запросто напороться на клыки отца семейства. Преодолев большое расстояние, Матерому и волчице приходилось уходить без добычи, а это значило, что волчатам, ожидавшим родителей в своем логове, нечем будет утолить голод.

Дорога основательно утомила волчицу, а еще предстояло идти долго. Но надо возвращаться, волчата оставались одни без присмотра, а в лесу, пока они не возмужали, у них много врагов. Волки уже шли след в след, выбирая путь полегче, через места, где лес не так густ. Вдруг Матерый насторожился, его привлекли отдаленные звуки, похожие на похрюкивание. Инстинкт охотника моментально заставил его мобилизоваться. Это был барсук. Он находился недалеко от своей норы, поэтому одно неверное движение Матерого, и барсук спрячется в глубокой норе, из которой достать его будет не под силу даже ему, опытному волку.

Волчица, отстав, чувствуя напряжение Матерого, следила за ним, чтобы в любой момент прийти ему на помощь. Матерый, обогнув место, где находился барсук, слегка присев, крадучись, с подветренной стороны двинулся на барсука. Прыжком он сократил расстояние и впился зубами барсуку в шею. Но он вырвался из захвата и ударил Матерого когтями по морде. Однако спрятаться барсуку негде, Матерый закрывал вход в нору, а соревноваться с волком в беге – неблагоприятное занятие. Оставалось только биться за свою жизнь. И барсук, ошестинившись, приготовился к бою. Но Матерый не спешил, он знал, что Волчица уже рядом, и ожидал, что барсук отвлечется при появлении его спутницы. Так и случилось. Как только волчица появилась, барсук, увидев оскал ее клыков, засуетился, Матерый, улучив момент, набросился на свою жертву.

Волчатам доставалось самое лучшее мясо – нежное и слегка сладковатое. Они не знали, чего стоило родителям добывать его. Насытившись, семейство мирно спало. Волчица лежала около логова, долгая охота вконец измотала ее, надо восстанавливать силы. Но отдых продолжался недолго. Первым у входа в логово появился волчонок, увидев мать, он подкрался к ней. Его привлек ее хвост, который для волчонка мог послужить отличным объектом для охоты. Как только волчица пошевелила хвостом, волчонок бросился на него и, перевернувшись через голову, откатился в сторону. Это его еще больше подзадорило, и он, высоко подпрыгнув, придавил кончик хвоста волчицы своим небольшим тельцем. Решив, что хвост повержен, он переключился на задние лапы матери. В это время из логова подросли остальные волчата и, по примеру своего брата, принялись донимать Волчицу игрой. Острыми зубками они хватили ее за ноги, уши. Не выдержав натиска детворы, она поднялась и отошла немного в сторону. Но волчата не унимались и продолжали игру. Волчица стойко переносила наступления волчат, она

ложились на спину, слегка отталкивала назойливых молодых охотников, но при этом совершенно не проявляла ни малейшей агрессии. Это продолжалось довольно долго, и как знать, чем бы закончилась игра волчат, если бы не Матерый. Увидев, что волчата не оставляют его спутницу, он быстро включился в возню с ними, увлекая их за собой, изображая поверженного зверя.

Волчата попытались догнать Матерого. Но тот, поджав хвост, ловко увертывался, а волчата, разогнавшись в порыве за добычей, летели кубарем с «игровой площадки». Единоборство продолжалась недолго, волчата вымотались заданным темпом игры, и некоторые из них почти замертво в изнеможении падали у логова. Лишь один Волчонок, угадав маневр Матерого, сумел ухватить его за ногу, но густая шерсть Матерого не позволила ему сохранить захват, и Волчонок, вытянув лапки, совершив кульбит в воздухе, отлетел в заросли травы. Выглянув из зарослей, волчонок, увидев, что пыл его собратьев поостыл, огибая площадку, подошел к логову. Волчица дремала, прикрыв глаза, как это обычно делают волки, но уши ее настороже. Она лизнула Волчонка, и он, потершись о ее ноги, лег в истоме, подставив бочок солнечным лучам.

Близился вечер, и летний дневной зной уступал место прохладе, которая наполняла небольшие овражки, поросшие мхом и папоротником. Умолкали птицы, лишь голос кукушки эхом прокатывался по лесу да мошकारа звенела в лесной тиши. Деревья приобретали серые тона, и Матерый, вытянув шею, гулким, с хрипотцой голосом начинал свою волчью песню. «Нас почти не осталось. Но и сейчас мы сильны. Творец создал наш род, значит, мы нужны ему». Волчонку нравилась песня Матерого. Он тихонько поскуливал, согретый в логове телами своих братьев и сестер. От блаженства он закрыл глаза и, предаваясь неге, провалился в небытие.

* * *

Выхожу за деревню, по разбитой дороге иду к орешнику, надо сделать удилице. Молодой орешник больше всего подходит для этого, его побеги без сучков, прямые и упругие, хоть в кольцо сгибай. Сворачиваю с дороги, осторожно пробираюсь через заросли лопуха. Ветки орешника растут веером, слегка наклонены, отчего на земле под ним образуется тень, но свет пробивается сквозь его широкие листья, бликами танцуя на траве. Два побега причудливо срослись, переплетаясь стволами, напоминая вытянувшееся человеческое тело. Трогаю их, несмотря на зной, они прохладные, мои ладони чувствуют живительную силу в них. Где-то недалеко слышны голоса. Там пасека, мы частенько заживали туда с теткой, когда ходили за грибами. Пасечник, даже увидев нас, не сразу отрывался от своих насущных дел, он поочередно открывал крышки уликов и, нагнав мехами дыма едкого дымку, внимательно осматривал их содержимое. Не поднимая головы, он громко говорил.

– Вы в дом проходите, ек-макарек, я сейчас управлюсь.

Он неспешно перемещался между ульями и, рассматривая рамки с сотами, разговаривал с пчелами.

– Николаш, мы пойдем, – кричала ему тетка, – а не то твои жужалки нас покусуют. Да сколько ж его ждать, – сетовала она, – копуша, ей-Богу!

Николаша-Ек-Макарек, смешно переваливаясь с ноги на ногу, направлялся в нашу сторону, неся в руках металлическую тарелку, доверху наполненную сотами.

– Вот расшумелась, пчелы суеты не любят, а ты все гонишь. Отдохните с дороги-то.

– Да какой отдых, пора идти, грибы поклекнут на пекле.

– Да погоди ты, дай мальцу медку попробовать. Да ты не стой, посиди вон, небось, ноги-то набил? – Он отрезал ножом со сточенным лезвием от сот большой кусок и протягивал мне. – На-ка эликсир бодрости! – Я, побаиваясь круживших над тарелкой с медом пчел, втягивал шею и прятал руку. – Не бойсь, пчела первой не жалит, руками тока не размахивай попусту.

Я набивал рот медом, усердно жевал воск.

– Ну как?

– Пить охота, – выдавливал я.

– погоди с водой, ты вкус почувствуй. На что похож?

– Сладкий очень.

– Да я тебя не спрашиваю, сладкий он или кислый, я же тебе толкую, вкус-то чей?

– Похоже на траву какую-то.

– Отгадал, – говорил Ек-Макарек, глядя на тетку, – травный мед, с луговых цветов. Ты в школе учишься?

– Угу.

– Тогда вот ответь, почему пчела летает? Как она на себе тащит груза в двадцать раз больше, чем сама весит? Вот задача! А?

– Да что ты, Коля, к парню пристал со своими расспросами, не смущай ты его.

– Надо же, смущаю, он же не дева красная, чтобы смущаться. Ну, чего молчишь?

– Летает, потому что маленькая, – ответил я.

– Не совсем так, – крикнул Ек-Макарек. – Тут другая загвоздка. Загадка природы, можно сказать, для нас почти неразрешимая. Домой она летит без всяких приборов, даже под угрозой гибели летит и мед несет в свой улей. Вот такие дела. Ты медок-то кушай, а на досуге обдумай мой вопрос. Ты, я смотрю, смысленый парнишка. А что, интересно тебе на пасеке? Можешь, пчеловодом будешь?

– Не, я пчел боюсь.

– Да его прошлый год твои труженицы покусали так, что глаз не видно, как раз вот недалеко, – сказала тетка, показывая на гречишное поле. – Они как в космы залезли, мы потом еле их вычесали. Так что охотку по пасеке ходить надолго отбили.

– Да будет тебе, пчела умнее нас с тобой, а уж про то, что трудолюбивее, и вовсе молчу. Иной вон только и знает что красуется да цельный день баклуши бьет и водку жрет. Зато, Ек-Макарек, гордится: «Я – человек!» А от него человеческого-то осталось: макушка, да два ушка!

* * *

С удилищем, пытаюсь увернуться от веток молодых березок, направляюсь на лужайку. Она освещена ярким солнечным светом, так, что видна издалека. В тени под кронами деревьев папоротник заполнил все пространство, его зонтики еле кольшутся, вздрагивают от прикосновения ласкового июльского ветра. Комары то и дело осаждают меня, я отмахиваюсь от них хворостинкой. Быстрее, быстрее на заветную лужайку.

Мастерю поплавок из нехитрого набора – пробки от бутылки да гусиного пера. Самое драгоценное, крючок и леску, тетка привезла из райцентра.

– На что тебе сдалась эта рыбалка, одни растраты, оборвешь свою удочку, опять подавай тебе снасть, – ворчала она.

– Они же копеечные, крючки-то, – отвечал я.

– Так ведь копейки надобно заработать, а не проматывать, а у тебя крючки твои, как в бездну, не напасешься. Сколько уж я тебе их привозила, столько рыбы не видала. Разоритель! – Приехав домой с покупками, аккуратно выкладывая их из сумки, она звала меня. – На-ка, посмотри, то или нет, я же в этом деле ничего не смыслю.

– Да то, конечно! – радостно говорил я, делая вид, что внимательно разглядываю леску и крючки. – Кто же лучше тебя может знать!

Тетка будто не слышала, громко говорила:

– Чего ты там бурчишь, отвернись еще, так я вообще не разберу, что ты лепечешь.

– Спасибо, тетя, все то, что надо, – кричал я. – А что там в центре?

– Да что там может быть, суета одна! А вообще-то, ничего, люди все опрятные, одеты прилично. В сапогах по улице не ходят, как у нас.

– Так у нас без сапог как ходить? Дорогу размочит, хоть караул кричи.

– Это верно. Да любому человеку хочется быть красивым, костюм надеть, туфли на каблучке. – Тетка оторвалась от покупок и посмотрела в зеркало. – Прическу сделать, – поправляя локон, мечтательно сказала она. – Ай, да ладно, что-то я не по делу разговорилась. Ты-то что в этом смыслишь?

– А в деревне говорят, что ты красивая, только невезучая в личной жизни.

– Это ж как понимать? – она улыбнулась и посмотрела на меня.

– Не знаю, наверное, я не совсем путевый. Хвостиком везде за тобой.

– Это ж кто тебе так сказал?

– Это я так думаю, – опустив глаза, резко отрезал я.

– Да ты больше слушай пустобрехов, им бы помусолить кого-нибудь. Да завидно им, как мы живем, вот и весь сказ. Ты бы лучше удочку наладил да свежей рыбки принес. Рыбки жареной захотелось, прям невтерпеж.

* * *

У «Быка» лучше всего ловилась плотвичка. Валун еще холодный и влажный от утренней росы. Вода стремительно несется по камням, оставшимся от мельницы, образуя небольшие буруны. Но если забраться на «Быка», можно забросить удочку прямо в небольшую заводь, где река тихая. Поплавок, отражаясь в зеркальной глади, покачивается от легкого дуновения ветерка. От напряжения и отражения в воде солнца в глазах начинает рябить. Но вот поплавок слегка накренился, нырнул, леска натянулась. Подсекаю, чтобы рыбка не сорвалась с крючка. Улов не богат – небольшая плотва, но и та дорога.

Время летит быстро. Ближе к полудню становится жарковато, надо идти, да и клев уже не тот, что утром. С десяток рыбешек нам с теткой за глаза хватит. Чтобы сократить путь, направляюсь к полю. Трава примята недавними дождями, поэтому идти нетрудно. Небо высокое, бездонное. Жаворонок парит, заливается трелью, да так сладко поет и жизни радуется, что внутри все пробирает. Умеет же птах невидимые струны души затронуть. Для кого поет? Нет вокруг зрителя, куда ни глянь, поля, леса да овражки. А ведь выкладывается на полную, потому что не может иначе. И не всегда нам, людям, разумом понять это, лишь сердцем можем почувствовать через его песню божье прикосновение.

Вот и дорога. Желтой лентой она режет зеленую гладь и, уходя в перспективу, на горизонте становится тонюсенькой ниточкой. До меня донеслись голоса. Недалеко появились силуэты. Это были мальчишки, видимо, из какой-то соседней деревни. Один, долговязый, шел широко размахивая руками, а его попутчик, рыжий и небольшого роста, с глубоко впалыми, острыми и неприятными глазами, опережая длинного, мелкими перебежками направлялся ко мне.

– Здоров живешь, – сказал рыжий, слегка запыхавшись. – А чой-то ты от нас сиганул? Мелкий, а прыткий какой. Да ты постой, поговорим маленько. Ты с выселок, что ли? О-па, да ты с рыбалки, где ловил? – тараторил он, не дожидаясь ответа.

– Надо очень от вас бегать, – ответил я. – Домой спешу.

– Слышь, Витек, ему домой надо, – усмехаясь, обратился он к дылде, при этом втягивая шею в плечи и озираясь по сторонам.

– А то, что он на нашем месте всю рыбу выловил, это тебе как? Давай, пацан, делись, а то нечестно как-то получается. – Он смотрел своими бесцветными глазами, будто старался попробовать насквозь. – А ну-ка дай-ка посмотреть, чего там у тебя.

После этих слов он схватил ведро с рыбой и потянул к себе. Я бросил удочку и обеими руками вцепился в ведро.

– Ты че, не понял, пацан, – кряхтел рыжий, рывком пытаюсь вырвать у меня ведро. Он вдруг внезапно отпустил его, и я, опрокидывая его содержимое на себя, упал на дорогу.

– Жмотяра, ни себе, ни людям, – крикнул рыжий и, подлетев, ударил меня кулаком в лицо. Набрав пригоршню песка, я бросил ее в рыжего и отполз в сторону.

– Да я шас в тебе дырку сделаю, – сплевывая через щербатый зуб, зашипел он, доставая небольшой сточенный ножик.

– Да ладно тебе, Миня, будя с него, – кричал дылда, оттаскивая рыжего от меня. – Чо раздухарился, хорош, говорю!

Но рыжий, вырвавшись из объятий своего попутчика, с налету ударил ногой ведро, так, что оно отлетело в траву, дернул меня за ворот, и добрая его половина осталась у него в руке.

– Ну что, половил рыбку? Приходи еще, можа, чего наловишь. Ну, бывай, повезло тебе, я сегодня добрый, кто ниже меня, не трогаю, – злорадствуя, крикнул он напоследок, выглядывая из-за спины длинного.

– А это тебе сопли подтереть. – Он кинул в меня оторванный воротник.

Я сидел на дороге с разбитым носом, кровь тонкой струйкой капала на рубаху, оставляя багровые пятна. Боли не чувствовалось, только горькая обида комом подкатывала к горлу. Слезы сами собой навернулись на глаза, когда я представил, как тетка сидит у дома и ждет меня с рыбалки, а я иду с пустым ведром в разорванной рубахе. В той рубахе, которую она штопала вечерами своими теплыми натруженными руками. Она ловко продевала нитку в иголку, поправляла прядь волос, упавшую на лицо. Стежки аккуратно ложились один к одному, и на тех местах, которые еще недавно красовались рваной бахромой, возникали узоры, похожие на снежинки. «Ну, вот и порядок, – говорила она, подавая мне рубаху. – Еще месячишко обманем, жалко рубаху на тряпки изводить, вон, ей сносу нет».

– Кого обманем? – спрашивал я, глядя на нее.

– Как кого? Себя надеждами потешим. На тебе вон все огнем горит, чего не надень. Сорванец ты мой ненаглядный! – смеялась она.

Но я, не до конца понимая слова тетки, надевая на себя латаную рубаху, вспоминал чучело на огороде. Оно стояло в старом-престаром плотно набитом соломой пиджаке с вывернутыми карманами. Остатки шляпы, привязанные веревкой к шесту, напоминали оттопыренные уши. Вороны, давно уже привыкшие к нему, совершали налеты на огород, совершенно не обращая никакого внимания на его устрашающий вид. Вот его-то, по моему умозаключению, и надо обманывать, чтобы, не дай Бог, чучелу досталась моя рубаха.

Шмыгая носом, я собрал свои пожитки, разбросанные на дороге. Зачем-то пытался приладить оторванный воротник. Недоумевая над случившимся, побрел домой. Почему этот рыжий набрался наглости так поступить со мной? Ведь рыбу на «Быке» я ловил, сколько себя помню, и никогда никто даже не намекал, что это делать нельзя. Потом, река же общая, размышлял я, даже мосточками по берегу, которые каждый делал под себя, пользуются все. Тетка белье полощет на Блонинном, он и слова поперек никогда не говорил. Пользуйтесь на здоровье. Почему я не ответил обидчикам, ведь надо стоять за себя. Но все пронеслось так скоротечно, будто я находился совершенно в другом измерении. Ну, ничего, надо набраться силенок и дать достойный отпор этой парочке. Илюха, вот кто меня научит драться, он и ножа не боится.

Тетки дома не оказалось, и я быстро умылся из рукомойника. Переносица побаливала. Взглянув на себя в зеркало, стоящее на старом теткинском комод, увидел, что нос слегка вспух, а под глазом появлялась сизая отечность. Но это неважно. Надо скорее починить рубаху. Я впопыхах стал искать нитки и иголки. Металлическая коробочка, в которой когда-то лежали леденцы, стояла на подоконнике. Именно в ней хранилось то, что сейчас так необходимо. Но

открыв ее, я с ужасом обнаружил в ней только катушку с черными нитками с огромной цыганской иглой, которой обычно тетка чинила старые валенки.

Ничего не оставалось делать, как пришить воротник этими нитками. Провозившись с шитьем довольно долго, я осмотрел свою работу. Воротник, притороченный огромными стежками, предательски торчал, предавая мне еще более жалкий вид. Ну, ничего, успокаивал я себя, тетка придет к вечеру, уже будет темно, и она сразу не заметит мои художества. Покормив кур и уток замешанными в эмалированном тазу птичьими яствами, я старательно подмел двор, предполагая, что это смягчит мою вину и не даст расстроиться тетке, если вдруг придется рассказать ей о моих похождениях.

К вечеру меня от бурно проведенного дня и всех переживаний разморило, и я решил полежать на сеновале. Забравшись в сарай, улегся на старое стеганое одеяло. В сарае пахло соломой, стояла духота. От палящего солнца за день крыша раскалялась, но, благодаря большим щелям в стенах, между потемневшими от времени досками в сарай проникал свежий воздух.

От этого естественного проветривания сено в сарае никогда не прело. Отгородившись от внешнего мира стенками сарая, я лежал, прикрывши глаза, мысли, цепляясь одна за другую и воплощаясь в какие-то образы, проносились в моей голове.

Мои ухищрения не попадаться тетке на глаза к желаемому результату не привели. Как назло, в этот день в деревенский магазин завозили товар. Надо идти занимать очередь. Утром, спохватившись, что меня нет дома, тетка напрямик отправилась к сараю, в котором в теплые деньки я иногда ночевал.

– Да где же этот сорванец, – в сердцах говорила она. – Вот уж нетужилка уродилась. Ох, останемся без запасов. – Отворив дверь в сарай и увидав меня с подбитым глазом, она прищурилась, сделала важное лицо и строго спросила: – А чой-то у тебя под зенками твоими бесстыжими? Чего мычишь, как телок? Я говорю, под глазом-то что?

– Да это я на сук напоролся вчера по темноте, – пролепетал я, шмыгая носом и усердно натирая кулаком глаз.

– Вот на ремень-то уж ты точно напоролся. А ну давай быстро одевайся да бегом очередь занимай в магазин, там уже, наверное, не протолкнуться. А потом поговорим, какой такой сук тебя пригрел.

Я схватил рубаху и, отвернувшись к тетке спиной, стал медленно натягивать рукав, пытаюсь скрыть мой шитье.

– Поживей-то можешь? – возмутилась она. Увидев огромные стежки на воротнике, она охнула, прикрыв лицо руками, и почти шепотом спросила: – Это что?

– Чо?

– Ты не чокай, я спрашиваю, ты где, шельмец, рубаху разодрал? Ой, да чего-то я такие вопросы задаю, наверное, об сучок злополучный? А чего молчишь-то, как сыч надулся? Ну да ладно, беги домой да сыми рвань эту, не позорь меня перед людьми, а вечером разберемся.

* * *

Каждый день Волчонок открывал для себя окружающий мир. Он уже прекрасно знал все места рядом с логовом, запахи для него – главный ориентир. Почувствовав незнакомый запах, Волчонок не осторожничал, он принимал угрожающую позу, чтобы в его душе не поселился страх, и шел вперед. Любопытство и жажда жизни для него – движущая сила. Он не совсем понимал, что толкало его к незнакомому, а порой, может быть, и опасному для него. Да и задумываться нет времени, ведь в диком мире действовать надо стремительно, иначе не выживешь.

Это случилось под вечер. Волчонок позволил себе отойти от дома дальше обычного. Постепенно наступала темнота, это то время, когда умолкали неугомонные лесные птицы, и в

лесу воцарялась ночная тишина. Но ночное спокойствие обманчиво. Любое неосторожное движение в тишине, сломанная сухая ветка, шуршание травы привлекали к себе внимание других обитателей леса, которые так же, как Матерый и Волчица, искали пищу для своего потомства. Но Волчонок, увлеченный поиском дороги домой, не думал об этом. Да он и не знал всех тех опасностей, которые могут подстергать его в лесу. Ведь окружающий мир для него представлялся игровой площадкой и не более того. Играя со своими братьями и сестрами, он никогда не кусался всерьез, все его воинственные па служили всего лишь своеобразным предостережением для них. Он даже не страшился Матерого. Когда вся поросль дружно принималась играть и переходила рамки дозволенного, взрослый волк начинал сердиться. Оскал действовал на волчат отрезвляюще, они, слегка оторопев, поглядывая на Матерого, сбивались в кучку. Но через несколько мгновений опять принимались за свое. Волчонок спешил к логову. Он ушел не так далеко, чтобы заблудиться. Но в сумерках найти дорогу сложнее. Он настойчиво пробирался сквозь побеги молодых березок. Но упругие деревья затрудняли ему движение. А тут, нехстати, на его пути оказалось старое поваленное ветром дерево. Пытаясь перелезть через него, волчонок не удержался и свалился, потащив за собой кусок прогнившей бересты. Сделав еще несколько попыток и изрядно устав, он стал искать проем под деревом. Дерево лежало под наклоном, огромный корень удерживал его на весу, и волчонок сунул мордочку под корневище. Упираясь передними лапками, он уже почти вылез из-под дерева, как почувствовал жгучую боль, пронзившую все тело. Страшная сила тянула его наверх. Молодой филин, ухватив волчонка за складки шкурки на шее, рывками тащил его к себе. Волчонок жалобно закричал и попытался убрать голову под дерево. Стало еще больнее, но это давало ему шанс освободиться. Филину мешали торчащие корни, и он не мог использовать силу своих могучих крыльев. Борьба продолжалась недолго. Филин, вырвав клочок волчьей шерсти, остался без добычи. А волчонок, дрожа от боли и страха, забивался под спасительное дерево. Он поскуливал, внутри его клочкотало, отчего жалобная песня напоминала курлыкание. Кровь сочилась из раны, волчонок пытался освободиться от назойливой боли и достать язычком ранку. Коряги ограничивали его движения, ему оставалось только сжаться в комочек и ждать, когда улетит филин. Но филин и не думал улетать. Он сидел у наваленного кучей хвороста, изредка ухая, отчего у волчонка еще сильнее билось сердце. Хворост служил филину укрытием, в котором он прятался от дневного света. Ведь волчонок, не желая того, блуждая в поисках логова, вторгся на территорию ночного охотника, за что чуть не поплатился жизнью. Ему повезло, что филин сыт. После удачной охоты он восседал как раз на том поваленном дереве, через которое волчонок пытался перелезть. И шум, поднятый им, естественно, привлек внимание филина, который не упустил случая наказать дерзкого нарушителя границ его пространства.

Начинало светать. Волчонок, преодолевая боль, сидел под деревом. Прикрывая глаза, он проваливался в темноту, ему грезилось что-то необычное, пугающее, отчего его било ознобом. Он открывал глаза и втягивал в себя сырой, пахнувший плесенью воздух. Надо выбираться из временного убежища. Тяга к жизни подталкивала его вперед. К той жизни, для которой он появился на свет, вольной, пахнувшей лесным ветром, душистой травой и талым снегом.

Волчонок выкарабкался из-под корня дерева и, собрав все силы, бросился в густой папоротник. Он пытался бежать, но, сделав несколько шагов, завалился на бок. Выход один – ползти, собирать оставшиеся силы и ползти домой, к логову. Иначе, обессиленный, он станет легкой добычей для какого-нибудь лесного хищника. Волчонок, проползая несколько метров, останавливался. Нюхал землю, тыкался в нее носиком, будто пытался вдохнуть в себя хоть частичку жизненной силы. Доносившиеся запахи знакомы ему, значит, дом где-то рядом, и Волчонок продолжал ползти, уже не обращая внимания на боль и разодранную кожу.

Волчица обнаружила полуживого Волчонка недалеко от логова, когда возвращалась к семейству после трехдневного отсутствия. Потомство подрастало, и приходило время их самостоятельности. Поэтому длительные поиски пищи ей позволительны.

Перетащив Волчонка к логову, она долго его вылизывала, будто пыталась передать ему свои силы. И, согретый матерью, он постепенно стал возвращаться к жизни. Волчонок ослабел, и, казалось, выжить ему не суждено. Но все же молодой организм победил, и окружающий его мир стал постепенно приобретать прежние черты. Волчонок смотрел на резвящихся братьев и сестер и жалобно поскуливал от боли, когда пытался приподняться, чтобы присоединиться к веселой ватаге. Он укладывал мордочку на лапки и внимательно наблюдал за своими сородичами. Нужно время, чтобы встать на ноги.

* * *

Очередь в магазин гудела. Занимали семьями, чтобы взять про запас, но с таким расчетом, чтобы и другим хватило. Каждый понимал, что если он станет пренебрегать неписаными правилами и хапать безразмерно, в следующий раз с ним могут поступить так же и оставить ни с чем, а еще начнут презирать и пальцем тыкать в спину. Тогда сажу с себя уже не смыть. Такой порядок формировался временем. И редко кто в деревне поучал, как надо жить, что можно делать, а что нельзя, ну разве что неразумное дитя. Жизнь строилась по простому правилу: не причиняй вреда другому да не желай ему зла, а придет беда, помоги, не гнушайся делать добро. А если и подтрунивали, да имена какие, на первый взгляд, обидные давали, так это не от недостатка образованности, а вроде как для профилактики. Мол, не туда поглядываешь, одумайся. Слово, оно ведь тоже на путь истинный направляет, и совсем не обязательно душещипательные беседы вести.

– Тоня, а что сегодня привезли? – кричала Казачиха, провожая взглядом коробки, которые заносили в магазин мужики.

– Весь ассортимент огласи! – тут же подхватывали другие.

– Что заказывали, то и привезли, – раздавался Тонин голос из магазина, – не мешайте мне пересчитывать, а то опять собьюсь по вашей милости.

– Да, правда, не отвлекайте вы человека, быстрее отпустить будет.

* * *

Казачиха – самая колоритная фигура в деревне. Кто-то ее уважал, а кто и побаивался. Жила она почти на краю деревни. Дом у нее стоял добротный, из красного кирпича, крыша покрыта листовым железом. Крыльцо украшали резные балясины с завитушками и солярными знаками, ставни расписные с грифонами по центру. Не дом, а украшение драгоценное. Даже обыкновенные скамейки, и те сказочные. Ножки у них из свитых в спираль корней деревьев, на спинках кони с развевающимися гривами.

Каждый год на доме появлялась необычайная узорчатая резьба, и люди, проходя мимо казачихинова «дворца», невольно останавливались и удивлялись высокому мастерству человека, который создал эту красоту. «Да, зарыл в землю свой талант Митрич, ему бы впору в академиях по художеству бывать. А он-то на мелочь разменивается», – говорили они. Митрич – муж Рассохиной, ниже среднего роста мужичок, статью далекий от женушки, которая, как говорят, «кровь с молоком». Ходил он всегда в одном пиджаке, но обязательно при галстуке, который, похоже, старше Митрича на десяток лет, отчего весь выцвел и имел непотребный вид. Казачиха на внешний вид мужа особо внимания не обращала, потому как жадновата до денег и считала, что трата их на «всякое барахло», которое с годами ветшает, неприемлема.

Митрич обычно носил очки, которые закреплялись бечевочкой на темечке. Когда он приступал к работе или сосредоточено разглядывал очередную заготовку, резким кивком сбрасывал их на переносицу и погружался в свой особый мир. В эти минуты бесполезно «достучаться» до него, он невпопад отвечал на вопросы, становился каким-то потерянным, будто

пребывал в ином измерении. Если его внезапно заставляли что-то делать по хозяйству, он начинал метаться из угла в угол, шаркал ногами. Ничего путного у него в эти минуты не получалось, злился, пытаясь понять, что от него хотят. И только грубый голос Казачихи выводил Митрича из оцепенения.

– Да очнись, Митрич, – кричала она, – вот Бог муженька послал! Вроде руки растут откуда надо, а с головой проблемы. Ты что, опять в себя ушел? Ей-Богу, умаялась я с тобой, – уже смягчаясь, говорила Казачиха, – ну, о чем опять мыслишь? Хватит нам поделок твоих, и так не дом, а натуральный терем!

После ее окриков он садился на стул, начинал тяжело вздыхать, надувал щеки и шумно выдыхал воздух. Не слушая ее, он блуждал глазами по сторонам.

– Чего ищешь-то? – не унималась Казачиха.

– Да очки куды-то дел!

– Так они на тебе, ты ж и спишь в них! Вона, тесемочка уже проросла на голове-то!

– Ай, ить, – выдавливал Митрич, и, несколько отводя плечи назад, похлопывал себя по груди, словно пытаясь выбить пыль из видавшего виды пиджака. И ни слова больше не говоря принимался за порученное ему дело.

Но, бывало, Рассохин из тщедушного с виду мужичка превращался в человека, вызывающего восхищение. Это случалось, когда он столярничал или резал по дереву, тогда липовый чурбан превращался в его руках в настоящую скульптуру. «Вот, непосредственная натура вышла, – с любовью говорил он глазающим на его работу мальчишкам, убирая очки с переносицы. – Это голубок, а это голубка, воркують они, нежатся на солнышке». Все инструменты для резьбы он делал сам, «стамесочки», как он их нежно называл, располагались на стене небольшого сарайчика возле верстака, одна к одной.

В сарайчике пахло липовой стружкой и сосновой смолой. К ним он никого не допускал, а уж тем более своим богатством ни с кем не делился. «Инструмент, что жена, никому не отпускается», – любил повторять Митрич. Но было еще что-то, чем Митрич дорожил не меньше, чем своими стамесками. Не мыслил он себя без песни. Пел всегда, сколько себя помнил, видать, от родителей привилась ему любовь к песне, той, которая истинно народная, в которой все связано и соразмерно. Лишь вышедшая из глубин народного сознания песня выражала осмысление мира и человека в нем, призывала к упорядоченности его жизни в противовес хаосу.

И казалось иногда Митричу, что голос сливался с музыкальным звучанием всего, что окружало его: небом, рекой, лесом, пением птиц и даже стрекотанием кузнечиков. Пожалуй, нет, не казалось, знал Митрич, что песня – это мостик между его душой и Богом. Пел он самозабвенно, порой до слез. Включаясь на звуках одинаковой высоты в разноголосое пение, он переходил на фальцет, чувствовал, как дыхание скользит по связкам, слегка задевая их. Все его тело, будто резонатор, наполнялось звуками пения.

Зная пристрастия Митрича, нередко теплыми вечерами во дворе Казачихи собирался народ на «большой» чай. Митрич ставил самовар, старательно сапогом нагнетал воздух, чтобы поддать жару. На столе появлялся кусковой сахар, кто-то приносил печеные пирожки, расставлялись блюдца с чашечками, а то и просто стаканы. Неотъемлемый элемент стола – бутылочка с наливкой, настоянной на лесных ягодах.

В эти минуты Митрич преображался, плечи его распрямлялись, глаза светились и источали такое умиление, будто сошла в этот вечер божья благодать. Обычно спутанная борода становилась тщательно расчесанной, галстук из гардероба исчезал, а на ногах вместо стоптаных ботинок красовались черные хромовые сапоги. «Гляньте, а Митрич-то еще жених завидный, смотри, увядуть мужа-то!» – галдели тетки, подтрунивая над Казачихой. Но та не обращала на них внимания, уже привыкнув к таким пересудам, повторявшимся всякий раз, когда они собирались за столом. Неспешно садились на расставленные скамейки, и детвора тут же. Попив чайку, обсудив в двух словах прожитый день, Казачиха, по обыкновению, с легкой хри-

потцой начинала запевать. Другие подхватывали слова, и протяжная мелодия заполняла все окружающее пространство. В определенное время подключался Митрич, его голос добавлял особую окраску пению, он сопровождал его, создавая то благозвучие, которым наполнена земная любовь. Иногда Казачиха начинала бранить мужа за высокие ноты.

– Куда ж ты затынул, старый, – говорила она, отклоняясь назад от стола и заглядывая Митричу в глаза. – Я ж так голос потеряю. Он порхать птишкой должен вокруг зачина, ан нет, в высь его тянет.

– А ты перестраивайся вовремя, на то и распеваемся. Это же песня, речитатив не всегда уместен, иной раз и голосом картину надо показать.

– Ой развел ты эту... – Казачиха замешкалась, вспоминая нужное слово.

– Хфилософию, – выпалил Митрич, – да ладно, не сердчай, давай-ка лучше «Жавроненка» затынем.

– Ой, жавроненок ты мо-о-ой, ой да ты воспой, воспой, – начала Казачиха.

– Весной на проталинке, весно-о-ой, – подхватывали другие.

Обычно сидели до позднего вечера, до наступления ночной прохлады. В завершение «большого чая» бабы без слов доставали небольшие трубочки, сделанные из тростника, в обилии растущего по берегам реки, где ее течение становилось спокойным. Там, в заводях, летом мужики бреднем ловили налима, когда тот в жару неподвижно стоял у берегов, выискивая затененные места. Расположив трубочки особым порядком, бабы, как по команде, в определенном ритме начинали извлекать звуки, похожие на приглушенный свист. Постепенно звуки органично вливались в общий поток и приводили в движение частицы воздуха. Через несколько мгновений казалось, что сердце начинало пульсировать в унисон музыке, передавая импульс всему телу. Звучание завораживало и, одновременно, вызывало беспокойство, будто тело теряло под собой опору. Казачиха голосом держала заданный ритм, его тембр подкрашивал издаваемые трубочками звуки, то создавая неровную, смешанную звучность, то соединяя звуки в стройное единство.

И только когда становилось зябко, гости потихоньку расходились.

– Ой, душевно посидели, душевно. Митрич, когда соберемся еще?

– Дак, по жаланию, по мне хоть каждый день, – отвечал он, поглаживая бороду. – Приходите, гостюшки дорогие, всем рады будем.

– Давай, давай в дом, довольно зазывать, – строго говорила Казачиха, широко зевая и поправляя платок. – Завтра вставать рано.

Если время позволяло, деревенские любили поговорить. Тема определялась сама собой, как-то спонтанно. Слова срывались с языка, словно паутинки пригожим деньком в бабье лето, подхваченные ветром. Незаметно в разговор включались все. Со стороны может показаться пустой болтовней, но нет, каждое слово меткое, жизнью скрепленное.

* * *

К очереди подошел дед Серенькин. Опершись на палку, молча постояв и оценив обстановку, спросил:

– Чегой-то завезли?

– Да панталоны на ватине, – серьезно сказала Рассохина, – как ты заказывал, пятьдесят второго размера. Да что-то сумка у тебя, дед, маловата для обновок!

Очередь засмеялась.

– Ох, язык у тебя длиннющий, Казачиха, смотри, кабы дверью не прыщамила. А портки я тебе уступаю. Однако, они тебе не налезут, тебе спецпошив нужен.

Народ в очереди весело загалдел, потешаясь над Рассохиной.

– Кто крайний, ты, что ль, малец? – обращаясь ко мне и не дожидаясь ответа, сказал Серенькин. – Ну, я тебя буду держаться. – Увидев у меня синяк под глазом, прищурившись, спросил: – А кто ж тебя разукрасил в такие цвета, ты вроде не драчливый? Да ладно, не смущайся, такие отметины мужчине только украшают. – Он оперся на свою клюку, полез в карман, достал щепотку махорки и клочок газеты. Послужив бумажку, привычным движением стал крутить «козью ножку». Прикурив, затянулся и, закашлявшись, отгоняя от меня рукой клубы дыма, выдал: – Ты, Сереженька, не горюй, синяк – не самое постыдное. Смалодушничать – вот это беда. А ежели за свое стоял, это тока тебя укрепит.

* * *

«Сереженьками» дед ласково называл малолеток, любил он детвору и нередко собирал вокруг себя мальчишек и травил разные байки. Мы любили его слушать, уж больно он сладко рассказывал, да еще «иллюстрировал» свои рассказы. Подражал дед мастерски, мог любого скопировать, и мы, открывши рты, смотрели его представление.

Однажды и меня Серенькин учил своему ремеслу. Угроздило же попасться ему на глаза. Случилось это ближе к вечеру. Он стоял у своего дома, облокотившись на обветшалую изгородь, будто ждал кого. И, увидав меня, позвал:

– А ну, пойдика сюды. Чего без дела шагаешь по деревне?

– На речку иду окунуться, – ответил я.

– Спешить али нет?

– Да не особо.

– Да, – протянул он, – ща самое время в воду залезть, вода как парное молоко. Жара какая стоит! Сам бы залез, да ревматизма спуску не дает.

Заметив у меня в руках сверток с мылом и полотенцем, проворчал:

– Да ты поклажку свою на траву положи, никто не возьмет ее. Давай поговорим. Вот ты мне скажи, допустим, об чем нынче молодежь думает? – Я пожал плечами, не совсем понимая, чего хочет от меня дед. – За слова свои отвечать не очень-то хотят, – продолжал он. – Вот, давеча, пообещал мне такой же, как ты, сорванец нарвать лопуха и пропал. А теперь уже, поди, и вовсе забыл. Мож, ты нарвешь, сынок, а? – умоляюще посмотрев на меня, спросил Серенькин.

– Так вон его полно у бань растет, – ответил я.

– Не, это не такой, мне полевой нужен, а тот, что за банями, нечистый. Ну, по рукам, Сереженька?

– Угу, – ответил я.

– Завтра тебя жду. Ну ладно, ступай. Нет, постой. Ты вот что... – начал тянуть дед, видимо, не желая меня отпускать. – Лягушка знаешь, как поет?

– Так она не поет, а квакает.

– Это тебе кажется, что квакает, а для нее это песня. Вот, послушай.

Он накрыл правую ладонь левой, свернутой в трубочку. Сделав серьезное лицо, поднес их к губам и, будто играя на музыкальном инструменте, принялся изображать кваканье. Потом смешно надул правую щеку и, постукивая по ней кулаком, выдал лягушину трель.

– Ну, усек? Давай, пробуй, сильно руки-то не жми ко рту, левой рукой регулируй звук, мягше, мягше надо. Во, примерно, так, – говорил он, оглядывая со всех сторон конструкцию из моих ладоней. – Давай, дуй, да мягше надо, говорю ж тебе. Прынцып понял? – Я кивнул и начал дуть что есть мочи.

– Да куда ж ты так сифонишь, это ж тебе не дуда! Ну, недельку кулак помусолишь, можа, и научишься, тока не запускай, здесь, как в любом деле, навык нужен. Ты приходи завтра с лопухом, я тебя еще кое-чему научу, – сказал мне Серенькин. Он прищурил глаза и, вытягивая

шею, пытался что-то разглядеть напротив своего дома. – Похоже, погода портится, – многозначительно изрек он и поправил старую потертую кепку, с которой никогда не расставался. – Кабы грозе не быть, затянуло крепко. А ты здесь еще, что ль? – посмотрев на меня и, как будто удивившись, невнятно промямлил Серенькин. – Ступай, Сереженька, ступай, урок окончен. Завтра-то не забудь про лопух.

* * *

Очередь двигалась медленно, а вскоре пришла тетка и отправила меня домой с наказом вернуться через часок.

– Ты сходи хоть поешь, за целый день, небось, оголодал. На столе все найдешь, давай беги. Да ведро воды бычку поставь, обязательно, слышишь! – вдогонку крикнула она.

Наспех перекусив, я направился за дом, прихватив ведро с водой, которая уже успела нагреться на солнце. Бычок стоял в тени слив, пощипывая траву. Увидев меня, он, не переставая жевать, направился в мою сторону. Подойдя, принялся заигрывать и чуть не выбил из рук ведро. Дотронувшись до широкого лба ладонью, я сдерживал его натиск. Ласково погладив завитушки, дал ему воду. Он с жадностью выпил, боднул ведро и принялся лизать своим шершавым языком мою ладонь. Глазищи у него, как блюдца, реснички белые, рожки бугорочками пробиваются сквозь шерстку. Нос влажный, лоснится на солнышке, будто масленок.

У амбара лежал садок, тина на нем высохла и схватилась зеленой корочкой. Вспомнился недавний разговор с Блоней. По обыкновению, когда его прихватывало, он просил меня принести воды. Колодец-журавль стоял как раз между нашими домами.

– Эй, соловейка, чего рассвистелся? Просвистишь все, голышом останешься.

– Да кутенок куда-то подевался, несмышленный еще.

А у вас его нет?

– А какой из себя?

– Да пегий, с рыжими подпалинами.

– Не, такого не видал.

– А зачем спрашивал, если не видал?

– Да это я так, для разговора. Ты бы мне водички принес, старухи дома нет, я своей клюкой ведро не удержу.

– Да мне не в тягость, ща я мигом.

– Да ставь тут, в дом не носи. Дай-ка я студеной попью.

Он зачерпнул кружкой воду и, немного отпив, сказал:

– Ну, вот и славно. А кутенка-то я у тебя не видал еще, недавно, поди, взял?

– Ага, на прошлой неделе, у Володьки оценилась месяц назад.

– Это какой Володька?

– Пасечника сын.

– А, ну понятно. Назвал-то как?

– Не думал еще.

– Это дело времени, приглянешься к нему, оно само собой решится.

Тут я заметил, что во дворе у Блони разбросаны ивовые веточки, а у скамейки лежало что-то наподобие каркаса.

– Что, интересно? – спросил он, увидев, что я разглядываю его приспособление. – Это, брат, садок для рыбешки, крупная в него не зайдет, а мелочь наловить можно. Карасики те же. Вот, доплету и на пруду поставлю. Так что захаживай на свежую рыбку, а хочешь, вместе пойдем. Только я не скорый ходить, сам понимаешь. Телепаться долго буду.

– Да тут до пруда рукой подать, – ответил я. – Мы спешить особо не будем, дойдем уж как-нибудь.

– Тогда вечерком заходи, готовый садок заберешь. А с зарей, как штык, у меня на дворе. Будем выдвигаться. Не проспешь?

– Не, я рано встаю.

– Ну и славно, коли так. Ты в лес-то ходишь?

– А как же!

– Ну и что там, в лесу-то?

– Да ничо, нормально.

– Не боишься один-то ходить? Уж больно испуганный забежал тогда. Волки мол, волки. Иль позабыл уже?

– Да как тут позабыть. Об этом в деревне только и говорят. Дед, а почему волка так боятся? Живет он себе спокойно в лесу, ну и пусть себе живет.

– Понимаешь, какая штука, – протяжно сказал Блоня. – Лесной житель – вольное создание, живет, не подчиняясь нам с тобой, у него свои законы. А людям не нравится, когда не по их уразумению. Потому и пытаются подчинить себе природу, укротить ее нрав, не поняв, что в ней заключено. Все норовят хребет ей переломить, а получается наоборот, что под собой сук пилят. Солнечный зайчик и тот пытаются в оправу заключить. Да ты, поди, и не понимаешь мою проповедь, мал еще.

Блоня вопросительно посмотрел на меня. Потом, помолчав некоторое время, грустно сказал:

– Это как будто в дом твой пришли да нагадили. Вот как, сынок, получается.

– А как встречу я с ним, волком-то, как быть? Бежать?

– Бежать? Пожалуй, бежать-то не сможешь, он попроворнее будет тебя. А ты поговори с ним.

– Это как, он же зверь, языка нашего не поймет. Загрызет, и все дела.

– А ты с ним душой поговори, как с Богом.

– Так Бога нет, дед.

– Это кто тебе сказал, что Бога нет?

– Да в школе говорят. Учитель говорил, что это бабкины сказки.

– Поди-ка, Бога нет. А кто же, по-твоему, красу такую создал, лес, речку нашу. Кто пожелал, чтобы пичужки весной домой возвращались, кто порядок таков завел? Вот то-то, ответа иного не найдешь. Ежели хочешь, я тебе одну поучительную историю поведаю. А там сам думай да размышляй, какие выводы делать.

* * *

– Дом-то разбитый недалеко от школы знаешь? Так вот, некогда жила там тетка одна, звали ее промеж собой Кручиной. Фамилия у нее Кручинина, так по фамилии и прозвали. Жизнь у нее личная не заладилась, мужик на фронте сгинул, дочка болезная росла. Так годы и коротали в одиночестве. Но тут время пришло девку замуж выдавать, да нет подходящих ухажеров, а на лицо она не больно-то уж красавица, так себе, серенькая. Горевала мать, бывало, идет мимо да все причитает: «Иду вот домой, а там тока Наташка да корова-свашка». А к Наташке, как мухи на блины, болячки цепляются, она и сама не рада белому свету. Люди говорили, будто сглаз это.

Под осень захворала она вовсе, болезнь какая-то страшная, живот расперло, ноги опухли, ходить уже не может, только лежит в кровати. Врачи уже крест на ней поставили, неизлечимость определили, итог один – скоро помреть.

Мать смирилась, угрюмой и нелюдимой стала. Все силы дочке отдает, лишь бы спасти. Потом что случилось, она мне сама поведала, траву у меня настойную брала и рассказала: «Как-то в районе стояла я, – говорит, – возле дороги, попутчиков ждала. Уж больно устала, ноги все

сбила, пока лекарства для дочки искала да по больницам бегала. Сумка с микстурами и таблетками руки оттянула. Стою у обочины, а внутри будто пустота какая-то, выстрадала и выплакала все что можно. Мимо меня мужичок идет, в руках бидон небольшой и удочка, видать, на рыбалку направляется. Увидел меня, встал и внимательно так смотрит, а потом подошел и говорит:

– Ты, матушка, никак оказию поджидаешь? Минут через тридцать подвода пойдет, там места для тебя хватит.

Я молча стою, сил нет разговаривать, только головой киваю. Мужичка разглядела. Пинжак на ем, сам росту небольшого, руки узловатые, борода густая, волосы седые под шапкой. Взгляд добрый, лицо так и светится.

– Вижу, грызет тебя что-то, дома неладно?

В былые времена я бы послала его на все четыре стороны, а тут я ему открылась, рассказала про беду свою. А он мне говорит:

– Домой приедешь, таблетки все выброси, чего попусту дочку травить. Молитвы читай, сто молитв в день. Дочка-то крещеная? Ну, коли крещеная, то и она пусть читает.

– Так а какую же молитву читать, мил человек? – спрашиваю у него.

А он отвечает:

– Материнскую молитву за чадо свое, а дочке – Пантелеймону да Святителю Николаю Чудотворцу.

При этом достает из кармана пинжака тетрадку потрепанную, а в ней молитвы от руки карандашиком писанные.

– Вот эти и читай, – говорит мягким голосом. – Ну, бывай, а таблетки выбрось, матушка!

Я даже как звать его, не спросила, стояла от усталости никакая. Добралась на подводе домой да прямо с вечера стала молиться, дочку заставляла потрескавшимися губами молитву в голос читать. Месяц как во сне прошел. Помню, я у печки копошилась, чую, за спиной кто-то стоит, оглянулась, а там Наташка. За двери держится, губами шевелит.

– Мама, дай попить, во рту пересохло.

Меня будто молнией шарахнуло, она уж сколько времени не вставала с постели. Я кинулась к ней, сама-то ничего не соображаю, целую ее, а она шепчет, сил-то говорить нет:

– Ты Господа благодари, он меня исцелил».

Потом у них на поправку дела пошли, не сразу, конечно, вся болезнь ушла. Время кое-какое прошло. Однажды даже врачи из центра приезжали, Наташку щупали и слушали, не верили исцелению. Все спрашивали Кручину, какие она лекарства пила. А мать на своем стоит, ничего не пила, только Богу молилась. А врачи такого раскладу не приемлют, они партийные, что мы, говорят, начальству докладывать будем? Так и уехали ни с чем. А в дом Кручины потом ходоки пошли со всей округи, как про чудеса стало известно. Но это недолго продолжалось. В один день уехала Кручина из деревни, говорят, в монастыре она с дочкой. Вот такая история. Ну да ладно, беги, – Блоня слегка подтолкнул меня рукой, – живы будем, еще поговорим.

* * *

Не увидев тетки на улице, я протиснулся в магазин. Помещение небольшое, в два окна еле пробивался свет. На потолке тускло светила лампочка. Полки почти пустые. Весь ассортимент представлен пачками махорки, сигаретами «Прима», слипшейся карамелью и какими-то консервами с выцветшими наклейками. Все, что привозила торговая машина, разбиралось в тот же день. На прилавке красовалось объявление, написанное на картонке: «Керосин отпускается только после... часов». Видно, что время неоднократно стирали, заклеивали, отчего в картонке образовалась дырка. Но все прекрасно знали, что за керосином, который хранился в большой бочке, прикопанной за магазином, лучше приходиться к вечеру. А до этого времени

Антонина была неприступной и на все уговоры продать керосин вне назначенного времени, сжав губы в «куриную гузку», отвечала одно: «Мне по технике безопасности не положено, потом, после керосина, этими же руками вам товар отпускать? Сами же жалуется, что все керосином пропахло!»

Мы уже рассчитывались за покупки, как у магазина зашумели.

– Чего они там так галдят? За день голова опухла от шума, – заворчала продавщица. Она хотела еще что-то сказать, но тут достала свою долговую тетрадь и, не глядя на нас, пробубнила: – Постойте, Филатовы, у вас, кажись, с прошлого завоза долг не погашен. – Она стала листать замусоленные страницы, шевелила губами, читая свои записи. Потом, тщательно разглаживая лист, тыча пальцем в тетрадку, громко сказала: – Ну вот, у меня же память отменная, рубль тридцать с вас!

Тетка, отсчитав деньги, положила их на прилавок и недовольно сказала:

– Ты отметки, Тоня, уж сделай, а то на следующий раз опять чего вспомнишь.

– Да не переживай, у меня бухгалтерия в порядке! Вот народ! – начала возмущаться продавщица. – Как займы брать, это пожалуйста, а отдавать – прямо-таки от себя отрывают!

Мы вышли из магазина, в очереди что-то бурно обсуждали. И те, кто уже давно отоварился, домой не торопились. В центре стояла заплаканная Марфуша и вытирала мокрые глаза кончиками повязанного платка. Она испуганно смотрела на окружающих, поочередно переводя взгляд на говорящих.

– Да куда же это годится, уже звери прямо-таки на дворе, для чего лесничий у нас, скажите на милость?

– Да что лесничий, в карауле должен сидеть, что ли? Самим надо начеку быть, а то варезку разинули, угомонились. Скока об этом талдычили?

– А может, это и не волки, кто видал, что они овец резали? Собак в деревне чуть ли не в каждом дворе, не могли они так близко подойти.

– Да могли, я помню, у нас логово почти у деревни находили, да чуть ли не в ста метрах.

– Еще скажи – во дворе, глаза у страха велики. Усугублять тоже не дело.

Чувствовалось напряжение, люди волновались.

– Что случилось-то? – Тетка потрясла за плечо Терехина, но тот не обращал на нее внимания. – Валя, что случилось-то? – настойчиво повторила она и слегка стукнула его по плечу.

Терехин дернул плечом, будто пытался согнать назойливую муху, потом оглянулся и сказал грустнасмешливым тоном:

– Да ничо особенного, волки овец подавили.

– У кого?

– У Пашки, на Кузнечиках.

– Много?

– Да кто его знает, говорят, почти половину. Он поехал туда, еще не вернулся.

– Ой, господи, что делается, – ужаснулась тетка, – как же это так? – Она стала искать взглядом меня, и, увидев, крикнула: – Иди домой, никуда не ходи, я сейчас!

– А что же теперь? – донимала она Терехина. – Может, не волки?

– Может, да кабы, расцвели цвяты, – скороговоркой пропел он, – сказано тебе, волки погуляли, чего домогаешься! Ты лучше за скотиной своей присматривай.

– Пошли к Илье, надо что-то решать, – звучно сказал Терехин, – а впустую болтать тут некогда, коли уже приключилась беда.

* * *

Илью дома не застали, дочка открыла дверь и, щурясь на солнце, стала оглядывать гостей. Вперед вышла Марфуша и тоненьким голосочком сказала:

- Иришка, папеньке, как появится, скажи, что вечером ждем его у школы, разговор будет.
- Мама! Мама! – крикнула Иришка, не отрывая взгляда от толпы.

Через некоторое время из сарая появилась Зойка, вытирая руки о передник, она удивленно воскликнула:

- Никак, чего случилось?
- Ой, беда, – начала причитать Марфуша.
- Да погоди ты, – осек ее Терехин. – Здравствуй, Зоя, Илья нужон, волки нынче овец подавили. Прийдесть, скажи, у школы вечером обсудим, как дальше быть. Лады?
- Да как же не сказать, скажу, он сейчас на обходе, а вечером обещался быть.
- С ружьем хоть пошел-то?
- Так он без него и спать не ложится, конечно, с ним, родимым, а как же.

* * *

Вечером у школы собрались почти все мужики. Между собой говорили негромко, ждали Илью. Часа через полтора появился и он.

- Извиняйте, маленько припоздился. Давайте к делу, про резню знаю.
- Знать-то хорошо, допустил как? – перебил его Ек-Макарек.
- Как допустил-то? А ты что же, предлагаешь всего зверя выбить в лесу, чтобы не беспокоил? Волка у нас давно не видели, может, пришлый, да он у нас с тобой разрешения спрашивать не будет, где ему жить. Но это все присказка, надо искать волков, мужики. К бабке не ходи, иначе повадятся на деревню да скот весь перережут. Видать, выводок у них, коли вышли из леса, знать, кормить волчат нечем. Лучше, конечно, гнездо их взять, пока не разрослись.
- Ты – лесник, тебе и карты в руки. А я, допустим, на логовище идтить не хочу, свой зад подставлять под волчьи зубы охоты нет, – сказал Ек-Макарек.
- Да не бойсь ты, волчара тоже осторожный, шкуру под выстрел не подставит лишний раз. За волчат грызться не будет, как тока почует опасность, уйдет. Но мы маленько по-другому поступим. Есть у меня старый испытанный способ. Но прежде надо всех в деревне опросить, где видели волков иль, может, их следы. Направление надо бы разузнать, куда они таскают свою добычу, – задумчиво сказал Илья. Он снял кепку, поправил чуб и, оглядев толпу, сказал: – Помнится, Серенькины заикались, что слышали вой. Ну-ка, напомни, Семеныч, где это они голосили.
- Да кто его знает, где, лес-то большой, – отвернувшись в сторону, промямлил Серенькин. – Оно и не поймешь сразу-то. Эхом пробежит, поди определи.
- Да не тяни ты. В ночном где стояли? Наверное, у Нинкиного камня?
- Ну, там, а где же еще. Травы у камня вдоволь.
- Да я тебя не пытаю, есть там трава или нет. Ты по существу говори!
- Ежели по существу, то вроде, были за рекой, где топи. Но ты за чистую монету не принимай, глуховат я маненько, мог и напутать. А то буду крайним, коли у вас не выйдет.
- Хитришь, Семеныч. Ты за версту все слышишь. К тебе кот соседский зайдет, ты уже несешься. Пойдем, если надо, все, так что, отсидеться не выйдет. Топи большие, мне одному все не прочесать, надо еще пару человек. Не факт, что они именно там.

Начали выбирать, поскольку желающих не нашлось. У всех дела, осень на носу, а там и зима не за горами. Но Илья настойчив и все доводы земляков во внимание не брал. Сошлись на том, что, если Илья дня за три не найдет волчьих следов, подключатся братья Стрельцовы. Они крепкие, бывалые, да и ружье в руках сызмальства держали.

* * *

Ранее утро. Солнышка еще не видно, но его свет будто растекается по небу волнами и осветляет темные краски ночи. Ожились птицы, гулким эхом разносятся по лесу их голоса. На дома сполз туман и скрыл их за своей завесой. Но если подняться на возвышенность, можно увидеть печные трубы, дым из которых стремится вверх и, смешиваясь, превращается в густое молоко. Постепенно деревня наполняется голосами, их какофония то усиливается, то стихает. Едва различимы другие звуки в полифонии деревенской жизни. Волнами они стремглав летят в упругом воздухе над полями, цепляются за деревья и вибрацией листьев превращаются в музыку леса. Илья понимал ее как никто другой.

Лес для него – живое существо. Любить лес его научил отец. Мальчишкой он помогал ему в лесничих делах и постепенно постигал отцовское ремесло. Именно в лесу он испытывал настоящее чувство свободы. Что для Ильи свобода? Он никогда не пытался облечь свое чувство в какое-то определение или подыскать нужные слова. Не возникало такой необходимости.

Лишь однажды для себя он вдруг неожиданно сделал вывод, что время для него в лесу течет иначе, оно то замедлялось, то вовсе останавливалось. Не найдя этому явлению рационального объяснения, Илья подумал, что жизнь не всегда поддается толкованиям и нечего пытаться втиснуть ее в какие-то рамки: «Порхай себе птахой, а понимание, если тому будет потребность, само собой придет».

Илья внутренне противился предстоящей охоте на волков. Поначалу, вроде бы, вспылит от последствий волчьего разбоя и настроился на радикальные меры. Только отстрел, сперва думал он, но, поразмыслив над ситуацией, начал колебаться и обдумывать допустимые варианты. Илья прекрасно понимал, появление волков рядом с деревней односельчанами воспринималось как угроза их жизни.

Волк для них – это проявление зла, а не просто зверь. Он видел это в глазах людей, которые приходили к нему.

Присутствие зла в окружающем мире, к сожалению, думал Илья, не приводит к укрощению его в самих людях. Смерть за смерть. Поэтому продолжают страдания, нарушается нравственный порядок. И грядут за это наказания, а люди поражаются, за что им такая кара, ведь жили мы праведно и безобидно. На всю жизнь запомнил Илья один случай, которому он стал свидетелем. Вроде бы мальчонка несмышленный, но врезались эти события в память, будто в назидание.

Очень нравился ему деревенский храм, благодать там присутствовала необъяснимая, тишина и спокойствие. Батюшка Варфоломей – простой и доступный человек без всякой напыщенности и наносной святости. Бывало, встретит его, перекрестит, положит руку на голову и спросит:

– Как папане-то помогаешь? Вижу, добрый помощник из тебя выйдет. Ты в храм-то приходи, когда захочешь, поговорим. – Улыбался сквозь усы, поправляя длинную бороду и заглядывая Илье в глаза. – Время-то уж больно беспокойное нынче, как перед потопом, – перекрещиваясь, говорил Варфоломей. – Не каждый спасется, уж по поступкам, – тяжело вздыхал он. – Ну, да ладно. Приходи, сынок, в храм, несмотря ни на что.

Не ведал Илья, что это последний разговор с бабушкой. Годы шли лихие. Добралась беда и до деревни. Варфоломея увезли в город, и никто уже о нем не слышал. Лихоимцы закрыли храм, кресты на землю сбросили, утварь погрузили на телеги и увезли в город на склады. Иконы вытаскивали на улицу и устраивали из них кострища. Народ безмолвствовал, люди боялись расправы. Старики и те, опасаясь, стояли поодаль, со слезами на глазах наблюдали глумление над святынями. И помнит Илья, как один мужичок, Макарка, вечно недовольный жизнью и

переполненный завистью к тем, кто жил достойно, выволок на колокольню икону Богородицы и со всей дури кинул ее оземь. Потом крикнул что есть мочи:

– Вот, смотрите, нету вашего Бога, горять деревяшки, никто с небес не сходить, вона как!

– Опомнись, окаянный, – пыталась унять его жена, – да что ж ты делаешь, ирод, беду на нас скликаешь!

Но Макарка не унимался. Ошалевший, он выскочил на улицу с огромными ножницами и так, чтобы все видели, стал царапать образ.

– Ну, что, – кричал Макарка, – где кара небесная, никто меня огненными стрелами не разить!

Пнув икону ногой, он вскочил на нее и принялся выплясывать, выдавая кренделя, да так, чтобы подковки на сапогах вонзались в лик Богородицы. Но тут неожиданно для всех, будто остолбеневших от немоги и страха, из толпы выскочил деревенский дурачок Ванятка, который всегда ходил со слюнявым ртом и считался убогим из-за своей детской наивности. Он подлетел к Макарке и резко толкнул его, да так, что тот отлетел и упал навзничь, оставив в небо свои бесцветные глаза. Ванятка схватил икону и, озираясь по сторонам блуждающим взглядом, метнулся от церкви в сторону реки, но увидев, что путь там перегорожен, бросился к лесу. Его не видели в деревне несколько дней, а появившись, он только мычал и на вопросы не отвечал. А может, и притворялся, чтобы чего худого не вышло.

Через год Макарка ослеп, сперва он шурился от близорукости, а потом и вовсе перестал видеть. Доктора разводили руками, болезнь для них непонятной оказалась. Через года три в муках на руках у жены Макарка умер, так и не покаившись за содеянное. И сколько ни вспоминал Илья этот случай, никак не мог понять, почему людей охватило такое неистовство, почему зло взяло верх. Что так перевернуло их сознание? Из всей этой истории он вынес одно: не преступай порог дозволенного, имей меру во всем, не давай волю ненависти, живи по совести. За деяние неминуемо воздаяние.

С такими мыслями шел Илья знакомыми тропами в поисках волчьих следов. Он все-таки решился на облаву, интуиция ему подсказывала, что, дай он слабину, упадет его авторитет в деревне. А он дорогого стоил. Тот порядок, которого он добивался от односельчан в отношениях с природой, устанавливался не просто. Неразбериха с участками для заготовки дров, бездумная охота на живность – все это долгое время не давало покоя Илье, и он постепенно, набравшись терпения, приучал земляков к правилам жития на земле, отучал их от варварского отношения к себе и окружающему миру. Не всем по нраву пришлось начинания Ильи, и только когда он хватанул навывлет браконьерскую пулю, аккуратно в лопатку, и, наспех перевязанный женой, вышел на сход в окровавленной рубашке, все поняли, что Илья не отступится.

– Все, селяне, с сегодняшнего дня кавардак в лесу закончен, – кривясь от боли, говорил он. – Буду насмерть стоять, а вот эта зарубка мне напоминанием будет, не осудите, коли кто попадется на злодействе в лесу. И поймите, не прихоть это, а есть порядок, и блюсти его мне государством поручено.

Но, видимо, навести порядок в людских головах не просто.

* * *

Случилось это в начале осени, когда лес особенно красив. В сентябре в нем испытываешь особое наслаждение. Именно оно добавляет душевного равновесия, времена года меняются почти незаметно, по-доброму уступая место друг другу. Лишь поздней осенью приходит необъяснимое уныние.

Именно в сентябре случаются пригожие деньки, когда ушедшее лето нет, да заглянет в гости, и ласковые солнечные лучи, пробегая по макушкам деревьев, одарят лес своим теплом. Илья как обычно обходил участки, готовил площадки для зимней подкормки, как эхо выстрела,

будто треск сухой ветки, нарушило лесную тишину. Потом еще один. Илья заволновался не на шутку. Он, спокойный по душевному складу человек, не мог мириться с несправедливостью. Илья понимал, что есть в жизни нечто, что допустимо каждому человеку, и это право он получает от рождения. Но существуют пределы, за которые нельзя переходить, поскольку жизнь на земле от ее возникновения до конца должна соизмеряться уважением прав другого живого существа, будь то человек или зверь.

Скинув с плеча ружье, он достал из патронташа патрон, снаряженный пулей, но потом, подумав, заменил его дробовым зарядом. Зарядив ружье, он быстро, как только мог, пошел на выстрел. Илья знал свой район хорошо и опасался, что у кого-то поднялась рука на двухгодичного лосенка, который обитал в тех местах. Илья встретился как-то с ним на просеке нос к носу. Его рога совсем маленькие, а небольшие глаза удивленно смотрели на Илью. Длинные, широкие уши слегка подрагивали в напряжении.

– Гыть! – крикнул Илья, резко подняв руки. И лосенок, нехотя отвернувшись от человека, полез в лесные заросли.

– Вот сорванец, – вслух сказал Илья, улыбнувшись, – из-за глупости своей и любопытства на рожон лезет.

Услышав отдаленные голоса, Илья стал идти осторожнее. Немножко постояв, чтобы отдышаться, он всматривался в просвет между деревьев. И только когда он увидел следы крови на примятой траве, понял, что случилась непоправимое. Сердце Ильи сжалось, ярость переполняла его, и он, стиснув ружье в руках, прошипел сквозь зубы:

– Ну, суки, вы у меня сейчас попляшете.

Двое незнакомцев, по-видимому, приезжих, свежевали тушу убитого лосенка.

– Ножи и ружья бросить на землю! – крикнул Илья. – А не-то стрелять буду!

Они удивленно оглянулись и, увидев только ружейный ствол из-за дерева, встали с короточек.

– Мужик, тебе чего надо, убери свою дуру-то, – сказал один из них.

– Еще раз повторяю, оружие на землю и стоять, где стоите! – Илья вышел на поляну, держа ружье наготове. Он, бросив взгляд на убитого зверя, с дрожью в голосе выдал:

– Вы что же это бесчинствуете, сволочи, почто малолетнего лося завалили?

– А ты кто есть, чтобы мы перед тобой ответ держали? – процедил сквозь зубы одетый в выцветшую телогрейку. – Не боишься? Нас двое, а ты вот один. – И, резко оттолкнув своего напарника в сторону, он нырнул в траву.

Илья, не прицеливаясь, не помня себя от охватившего его чувства гнева, шмальнул из двух стволов в сторону беглеца. Раздался душераздирающий крик, но Илья, не обращая на него никакого внимания, перезарядил ружье и стрельнул вдогонку другому.

В течение пяти месяцев, пока браконьеры лежали на больничных койках и им чистили загноившиеся от мелкой дроби раны, Илья ждал решения суда. Ружье на время следствия отобрали, но от работы не отстранили. Мол, служебные обязанности, подозреваемый, исполняйте, но без оружия, а не то еще, не дай Бог, кого подстрелите.

Но голь на выдумки хитра! Чтобы другим неповадно было, Илья изготовил макет ружья, для чего кусок алюминиевой трубки приторочил к выструганному прикладу. Издалека трубка бликует, будто ружейный ствол. При таком раскладе народ и вовсе Илью стал бояться, как чего в лесу надо по хозяйству, так разрешение спрашивают. Промурывив в суде, ему присудили условный срок, повезло, что те негодяи очухались в больнице. Но отметины Ильи им всю оставшуюся жизнь рубцами напоминанием будут.

* * *

Поиски волчьего логова в лесу ничего не дали. Напрасно Илья прочесывал квадрат за квадратом. «Пустая затея, – думал он, – в одиночку волка искать. Все места, где предположительно мог находиться выводок, не исходить, только без ног останешься. А волчата, наверняка, есть, как пить дать, не полез бы волк к домашней скотине». Илья помнил рассказы отца о волке. Отец, в быту обычно немногословный, на привалах после длительных переходов по угольям рассказывал Илье премудрости лесной жизни. Обыкновенно он ложился на землю, вытягивал уставшие от долгой ходьбы ноги и закрывал на некоторое время глаза. Потом, тяжело вздыхая, приподнимался, смотрел на Илью и говорил:

– Давай, сынок, перекусим перед дорожкой. – Отец отламывал кусок хлеба, протягивал его Илье. – Чай, уморился? Привыкнешь. Коли на нашу стезю встал, терпи. Лес не приемлет временщиков, внимание развивай, смекалку. Вот, давеча, шли с тобой без тропы, что заметил особенное? Вот то-то и оно, а там валежина имелась. А валежина – место удобное для волка, его логова. Опять же обзор там хороший, а для дневки это первое условие. Волк должен видеть все, что вокруг творится, пока волчата резвятся поблизости.

Илья остановился, чтобы перевести дух. Вытер пот со лба, бросил взгляд в небо. Верхушки сосен уходили в перспективу, их очертания слегка плавали в раскаленном воздухе. Он, прищурившись, смотрел сквозь растопыренные сосновые ветви. Жадно вдыхал воздух полной грудью. Наслаждаясь душистым сосновым ароматом, он постоял некоторое мгновение, потом, поправив ружье, осторожно ступая по плотному ковру из опавших иголок, тронулся дальше в путь. Вот показался просвет в деревьях. Лес заметно стал редеть, и через некоторое время Илья уже пробирался через ореховый кустарник. Впереди видна речка. Пройдя шаламаник, он съехал по рыхлому песчаному откосу к воде и, не удержавшись от соблазна окунуться, быстро сбросил с себя пиджак и рубаху, уложив на них ружье, встал в воду и принялся окатывать себя. Струйки воды змейками пробегали по его телу, приятно оживляя уставшие мышцы. Он собрался набрать воды в ладони, как из ближайших камышовых зарослей выплыла утка. Ее оливковый клюв блеснул в солнечных лучах, темно-бурое оперенье сливалось с поверхностью воды. За ней, усердно работая лапками, поспешали с десятков утят. Увидев Илью, она тревожно крикнула, после чего утята торопливо скрылись в ближайшей речной траве.

Утка быстро сменила направление и, будто подразнивая Илью, поплыла недалеко от него. Потом, резко захлопав по воде одним крылом, стала кружиться на воде, изображая подранка. «Ой, артистка, – усмехнулся Илья, – да не трону я твой выводок». Он набрал полные ладони воды и выплеснул ее в сторону криквы. Утка нырнула и, появившись на поверхности воды в нескольких метрах, вытянув шею, скрылась в камышах. Илья посмотрел на свое отражение в воде, трехдневная щетина делала его лицо осунувшимся. Да, не жалуется времечко, подумал он, только морщин добавляет, а впрочем, грех жаловаться. Живу куда, и слава Богу! При этой мысли он улыбнулся и стал пить воду пригоршнями.

Часа три ходу, и буду дома, размышлял Илья. В животе ныло, хотелось есть. В месте, где размытый весенними паводками песчаный берег изрезан уступами, он поднялся и еще раз взглянул на речку. Ее берега заросли ивняком и высокой травой. Местами, где течением нанесло песка, видно волнообразное дно. Эх, с бреднем давно уже не хаживал, подумал Илья. «Ну да ладно, – сказал он вслух, – еще успеем». Но тут, повернувшись спиной к реке, недалеко, в метрах ста от него с подветренной стороны, Илья увидел волчий силуэт. Он присел от неожиданности. Рука инстинктивно потянулась к ружью. Илья ловко сбросил его с плеча и положил на колени. Потом, боясь спугнуть зверя, вытянул шею и, немножко привстав, стал вглядываться в сторону, где был волк. Но зверь исчез. Может, померещилось от переутомления, мелькнула мысль у Ильи.

Взвевая курок, он аккуратно, одной рукой раздвигая ветки кустарника, пошел в сторону леса, с расчетом сделать петлю и подойти к тому месту, где, возможно, обосновался зверь. Оказавшись на том самом выступе через некоторое время, Илья, озираясь по сторонам, присел и стал рассматривать следы. По всей видимости, самец, сделал вывод Илья. Что ж тебя днем-то понесло, видать, голодуха прижала, коль в одиночку по светлому рыскает. Так, это уже что-то. Есть зацепочка.

Определив направление, куда мог повернуть волк, Илья, решив, что успеет до темноты хотя бы наметить участок, где обитает волчье семейство, вошел в лес. Около часа потребовалось ему, чтобы отыскать волчью тропу. Она шла от реки, как раз от того места, где когда-то очень давно свирепствовал ураган, поваливший, как тростинки, могучие деревья. Место оказалось труднодоступное и, в то же время, защищенное. Человек туда не сунется, и со стороны реки на берег не пробраться, там ивняк стоит сплошной стеной.

Илья подошел к деревне уже за полночь. Лишь несколько фонарей выхватывали из темноты силуэты крыш. Собаки, будто передавая эстафету, лаем сопровождали его. Илья снял кольцо, наброшенное на калитку, как кто-то ткнулся ему в колени. «Флинька, чертова псина, – шепотом сказал Илья, – почему ты не на привязи?» Он потрепал ее по голове и сел на крыльцо. Снял с себя поклажу, ружье прислонил к скамейке. Стянув сапоги и поглаживая уставшие ноги, Илья сказал, обращаясь к собаке: «Ну, что у тебя? Какие новости? Скоро работенка будет, Флинька! Как справишься?»

– Илюш, ты, что ли? – послышался голос Зойки. Она смотрела из окна, выставив перед собой керосиновую лампу.

– Я это, пришел вот только. – Заскрипели дверные петли, и в дверь высунулась голова заспанной Зойки.

– Чего не заходишь, позднота уже.

– Да сейчас, отдышусь маленько. Что у нас, все в порядке?

– Слава Богу, – ответила жена. – Да заходи, не через порог же разговаривать. Я уберу, иди в дом. – Она взяла в одну руку сапоги Ильи и хотела хватануть ружье, но Илья опередил ее. Он отвел ее руку и сказал:

– Не тронь, я сам. Плохая примета, когда баба за ружье цапается. Пойдем, сольешь мне воды. Есть охота, Зой, маковой росинки целый день во рту не упало.

Перекусив, Илья не торопился выходить из-за стола. Он сидел, освещенный керосиновой лампой, подперев подбородок рукой, изредка вздыхая.

– Ты чего не ложишься? Как ходил? Слово из тебя не вытянешь, – сонным голосом протянула Зойка.

– Нашел я серого, – ответил Илья. – Недалеко от речки, в буреломе, надо еще разок сходить, примериться.

– Ой, – вздохнула Зойка, – что-то душа у меня не на месте с этой охотой. Прямо-таки боязно.

– Перестань, мать, ерунду говорить. Иришка спит?

– Конечно, спит, время-то какое. А ты чего все думку гоняешь, ложись, отдыхай.

– Да, пожалуй, пора, – сказал Илья, резко дунув на танцующий язычок пламени керосинки.

* * *

На следующий день тетка сообщила мне новость.

– Слыхал, нашли душегуба серого, – сказала она, глядя в жбан с квашеным молоком. – Смотри, творог какой знатный получается.

– Это ты про что? Какого душегуба? Волка, что ли?

– Ну а кого же еще! Илья, говорят, нашел следы почти у самой речки. А ты вот шастаешь туда, не ровен час, наткнулся бы на зверюгу. Слышишь ли, что говорю? Творог какой, одно загляденье! – опять сказала она, пытаясь перевести тему.

– Что же теперь? С волком-то?

– А что, отстреляют, не любоваться же им! Вон, злодей, как напакостил!

– Когда пойдут?

– Да кто его знает, соберутся и пойдут. Какие уж тут сборы, недалеко, чай, идут. А тебе-то зачем все знать?

– Просто так.

– А вот много будешь знать, скоро состаришься! – весело сказала она.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.